

**Военные
Приключения**

ОН УБИЛ МЕНЯ ПОД ЛУАНГ-ПРАБАНГОМ



ЮЛИАН СЕМЕНОВ

Военные приключения (Вече)

Юлиан Семенов

**Он убил меня под Луанг-
Прабангом. Ненаписанные романы**

«ВЕЧЕ»

1970, 1989

Семенов Ю. С.

Он убил меня под Луанг-Прабангом. Ненаписанные романы /
Ю. С. Семенов — «ВЕЧЕ», 1970, 1989 — (Военные приключения
(Вече))

ISBN 978-5-4484-7882-6

Издательство «Вече» в рамках популярной серии «Военные приключения» продолжает публикацию произведений известного русского писателя Юлиана Семенова. Война не бывает милосердной. Всегда и везде она собирает свою кровавую жатву, невзирая на правых и виноватых. Чья правда главнее, так и не смогли выяснить советский журналист Степанов и американский летчик Эд, когда судьба свела их далеко от родного дома, на чужой для обоих войне... «Ненаписанные романы» – это сборник необычных новелл, объединенных одной, не дававшей покоя автору мыслью: что такое неограниченная власть и чем она опасна для большинства людей?

ISBN 978-5-4484-7882-6

© Семенов Ю. С., 1970, 1989

© ВЕЧЕ, 1970, 1989

Содержание

Он убил меня под Луанг-Прабангом	6
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Юлиан Семенов
Он убил меня под Луанг-
Прабангом. Ненаписанные романы

© Семенов Ю.С., наследники, 2008

© ООО «Издательский дом «Вече», 2008

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Он убил меня под Луанг-Прабангом

21.50

Комиссар охраны Ситонг открыл дверцу «газика», мучительно прислушиваясь. Машина натужно ползла в гору. Подъем был очень крутым.

– Выключи подфарники, – сказал Ситонг шоферу.

– Тут воронки. Можем загреметь в пропасть.

– Выключи подфарники, – повторил Ситонг.

– Что? – спросил Степанов. – Летает?

– Вроде бы, – ответил Ситонг. – Стоп.

Шофер выключил мотор. Машина медленно покатила назад.

– Поставь на тормоз, – сказал Ситонг.

– Она на тормозе.

– Почему катится?

– А он не держит на таком крутом спуске.

– Поставь на скорость, – посоветовал Степанов.

– Это не разрешается по инструкции, – ответил шофер.

– Инструкция простит, – сказал Ситонг, – сейчас свалимся.

Шофер поставил машину на скорость, и Ситонг выскочил из «газика».

– Никого нет, – сказал Степанов, прислушавшись.

Ситонг, досадливо махнув рукой, стоял замерев. Он прислушивался к небу, вытянув шею, – словно так дальше слышал.

– Ты ошибся, Си, – сказал Степанов, – тебе просто показалось.

И в это время он услышал самолет.

– Ситонг не ошибается, – сказал комиссар охраны. – Ситонгу нельзя ошибаться, иначе тебя давно бы уж убили. Лезем в скалы.

Они взяли рюкзак с едой, автомат, фляги, и полезли в скалы.

– Кто летит? – спросил шофер. – Эй ди сикс¹?

– Он. Кому же еще летать ночью? С этого тиххода можно бомбить даже ящерицу, не то что машину.

Шофер остановился и сказал:

– Я оставил в машине свою новую куртку на «молнии»...

– Ничего, померзнешь, – ответил Ситонг. – Пошли быстрей, он уже рядом.

21.57

– Ну-ка, Билл, погляди ты: вроде бы они остановились?

– Да, командир.

– Радар не барахлит?

– Нет. Просто, видимо, они услышали нас. Поэтому и остановились.

– Ты думаешь?

– Я думаю.

– Это хорошо, что ты думаешь, – улыбнулся Эд Стюарт, – на этой земле вообще разучились думать. Чем больше люди научились делать, тем они меньше стали думать. Между прочим, напрасно ты не записываешь мои афоризмы: их можно выгодно продать. Например, во Франции. Зайдешь в «Юманите» и предложишь афоризмы «воздушного пирата». Они очень

¹ АД-6 (эй ди сикс) – самолет ВВС США.

ценят такие эпитеты. Отвернем, Билл. Все же они нас услышали. Пусть успокоятся и поедут дальше, а мы сделаем круг. Нет?

– Да, командир.

– Ты был в Париже?

– Нет.

– Плохо. Каждый человек обязан побывать в Париже. Ты читал «Праздник, который всегда с тобой»?

– Нет. Чье это?

– Хемингуэя.

– Это который пустил себе пулю в рот?

– Да.

– Нет. Я читал про то, как он развлекался с молоденькой итальянской потаскушкой.

– «За рекой в тени деревьев»?

– Я не помню названия. Я всегда забываю названия, – улыбнулся второй пилот. – Про что – помню, а вот название и фамилию автора всегда забываю.

Эд засмеялся.

– Значит, говоришь, он развлекался с молоденькой итальянской потаскушкой?

– Ну да. Они там еще все время пили. Алкоголики какие-то. Вообще все итальянцы алкоголики.

– Это ты сам? Чуть убавь обороты. Вот так. Хорошо. Это ты сам? – повторил он.

– Что?

– Сам придумал про итальянцев?

– Нет. Там воевал отец, он мне рассказывал.

– Тебе двадцать?

– Почему? Мне двадцать два.

«Неужели я в двадцать два был таким же болваном? – подумал Эд. – В молодости мы все кажемся себе гениями и только к старости понимаем, какие же мы в сущности кретины».

– Ты молодец, старина, – сказал Эд, – ну-ка, давай зайдем на них еще раз.

22.07

– Все, – сказал Ситонг, – отцепился.

– Я так боялся за свою новую теплую куртку на «молнии», – сказал шофер, – она греет словно весеннее солнце.

– Тебе положено бояться за машину, – ответил Ситонг, – а не за куртку на «молнии».

– Ты всегда такой грозный, Ситонг? – спросил Степанов. – Что это с тобой случилось?

– Я всегда становлюсь таким, когда кончается поездка. Когда к нам приезжал профессор-француз из трибунала Честности, я в конце поездки ругал его самыми страшными лаосскими ругательствами.

– Зачем?

– Просто так. Чтобы самому успокоиться. Если убьют в поездке – тут уж ничего не поделаешь: война есть война. А когда до границы осталось двести километров – погибать совсем обидно.

– С той стороны границы бомбят так же.

Ситонг вдруг усмехнулся:

– Там за тебя будет отвечать вьетнамский комиссар охраны, а здесь отвечаю я. Хочешь выпить?

– Хочу.

Ситонг протянул Степанову флягу:

– Держи.

– Спасибо.

Степан сделал два больших глотка и сказал:

– У вас от самогона за версту несет рисом.

– Рис – не дерьмо, можно и понюхать. Зато крепкий самогон. Пей еще.

– Не хочу.

Ситонг сделал несколько глотков, прополоскал рот и сказал:

– Десны очень греет. Приятно. Ладно, пошли в машину.

Мотор никак не заводился, исступленно выл стартер.

– Посадишь аккумулятор, – сказал Степанов.

– Не посажу, – уверенно ответил шофер, и по этой его уверенности Степанов понял, что аккумулятор он наверняка посадит.

Это было в Крыму, в Старом Свете. Степанов тогда купил старенький «Москвич», и они с Надей поехали к морю. Был конец апреля, но он все же уговорил.

– В мае уже купаются, – сказал он.

– В конце мая, – уточнила Надя, – а ты месяц не усидишь...

Но ему очень хотелось поехать к морю на «Москвиче», и они поехали.

Зачем женщина вначале так легко соглашается с взбалмошным неразумием любимого? Зачем так скоро любовь трансформируется в чувство собственника? Зачем мы, исповедуя философию движения, относимся к любви словно слепые узколобые догматики? Зачем мы не говорим себе сразу, что любовь обязательно переходит в дружбу и в привязанность, а это ведь уже не любовь? Проблема человеческой совместимости – это и есть проблема счастья в любви. Перед тем как зимовщиков отправлять на год в Арктику, их испытывают невропатологи. Неужели влюбленным надо проходить испытание на будущую совместимость? Может быть, кто знает.

– Смотри, море, – сказал тогда Степанов.

Оно появилось в разрыве облаков ранним утром. Старый Свет еще спал – только отчаянно голосили петухи. И еще очень горько пахло жжеными листьями. Этот запах казался Степанову горьким, потому что он уезжал от Нади в первый раз, когда на даче жгли листья – и голубой дым уходил в синее сентябрьское небо. Надя долго стояла возле калитки, глядя ему вслед, и он то и дело оборачивался, и в нем все пело, и идти ему тогда было невозможно легко – как после хороших трех раундов. Только после хороших трех раундов с товарищем, после горячего душа и жесткого полотенца в нем появлялось раньше такое ощущение.

Счастливая горечь первой недолгой разлуки с ней потом прошла, разлуки стали их бытом, а вот горький запах жженных листьев остался в нем, как символ недолгого счастья, и тишины, и любви.

– Очень скользкая дорога, – сказала Надя. – Будь осторожен.

– Да ладно, – сказал он, – ты смотри, какое море!

Он резко перевел рычаг переключения скоростей, и рычаг остался у него в руке – хороший, видно, металл поставили на заводе, черт их дери! Машина заскользила вниз по горной дороге. Она была сейчас неуправляемой и скользила быстро.

– Правь, родной, правь! – прошептала Надя и стала бледной и пальцы поднесла к щекам. Она всегда подносила свои длинные пальцы к щекам, когда пугалась, или когда он обижал ее, или если она смущалась чего-то. Руки ее не потянулись к дверце, нет. Она сидела возле, повторяя все время как заклинание:

– Правь, Димочка, правь...

А он тихо матерился и не знал, что делать, потому что машину тащило вниз, а метрах в двадцати начинался крутой обрыв. Тогда Степанов зажал в ладони острый огрызок рычага передачи, перевел его на первую скорость, и машина, дрогнув, остановилась.

– Правь, Димочка, правь, – продолжала повторять Надя.

– Чем мне править?! – закричал он тогда. – Что ты болтаешь?!

А она ведь ни разу не потянулась рукой к ручке дверцы...

Все вокруг нас хрупко и непрочное. Зачем мы забываем и об этом? Стекло хрупко? Чушь. Что есть на свете более ломкое, чем человеческие чувствования?

Мы начинаем предавать себя в дни счастья, не замечая этого. Во всяком горе жди радости. Значит, и в счастье должно ждать горя?

– Надо покрутить ручкой, – сказал шофер и засмеялся.

«Веселый парень, – подумал Степанов, – с таким не соскучишься. Тхань был настоящим водителем, а этот еще совсем мальчик».

– Давай ручку, – сказал Ситонг, вылезая из машины.

Шофер долго копался у себя под сиденьем, а потом сказал:

– Нет ручки.

– Чем же я тебе буду крутить? – рассердился Ситонг. – Пальцем, что ли?

Шофер рассмеялся, и Степанов тоже.

– Ничего, – сказал Степанов. – Сейчас мы развернем машину на месте и пустим ее вниз. Она пойдет под гору и заведется со скорости.

Они взмокли, разворачивая машину. Им приходилось удерживать ее над пропастью, но они все-таки ее развернули.

– Садитесь, – сказал шофер, – сейчас заведется. А внизу есть площадка, там можно вернуться. Там большая площадка...

Но они не сели в машину, потому что снова услышали самолет.

22.13

– Ты заметил, что обостренное чувство совестливой стыдливости у женщины унижает мужчину? – спросил Эд. – Длительно стыдливая женщина может сделать мужчину импотентом.

Билл смущенно хмыкнул.

– Ты что, девственник?

– Нет, командир. Только меня развратные женщины без стыда совершенно не волнуют. Мне самому стыдно за них. Я люблю нежность.

– Это потому, что вы теперь все слишком рано начинаете.

– Нет, командир. Про это больше болтают.

– Посмотрите-ка, а они все еще стоят. Они не могли нас слышать, мы подлетали из-за хребта.

– Обезьяны, – сказал Билл, – чарли проклятые.

– Они люди, а не обезьяны. Зачем ты так? Надо уважать врагов. Если мы воюем против обезьян уже пять лет и по-прежнему сидим по горло в дерьме, то кто же тогда мы сами-то?

– На них надо бросить пять водородных штучек, и все кончится.

– Кто их будет кидать? Ты?

– Ну и что? Я кину.

«А ведь этот действительно кинет, – подумал Эд, – и с ума потом не сойдет».

– А дети?

– Какие дети?

– Их дети. Маленькие дети. Они ведь тоже сгорят...

– Что – дети? «А ля гер, ком а ля гер»...

– К тому же ты знаешь французский?

– Я беру уроки.

Эд почувствовал затылком, как ослабился его второй пилот. Достав расческу, Эд уложил растрепавшиеся волосы. В расческе тихо потрескивали молнии.

– Ты спишь с мадам Тань?

– О чем вы, командир? – скрывая улыбку, ответил Билл. – Я не понимаю, о чем вы говорите...

– Ну-ка, внимательно посмотри: они на том же месте или сдвинулись?

– Чуть сдвинулись.

– К Лаосу.

– Странно, вначале они ехали во Вьетнам. Хватит горючего еще на один круг?

– Хватит. Не возвращаться же с бомбами...

– Можно отбомбиться здесь.

– По пустой машине?

– Ну и что? Все равно – урон для техники.

– Им русские пригонят взамен этой еще десять штук.

– Почему русские? А может, китайцы?

– Китайцы сами нищие.

– Ты стратег, а?

– Нет, командир. Просто я так думаю.

– Опять ты думаешь, черт возьми! Хватит тебе думать, – я завидую тем, кто не думает...

– Мадам Тань купила вашу книжку.

– Ну?! Она умеет читать? Я думал, что она только умеет... Это прекрасно, когда туземная красавица умеет не только... но к тому же читает книжки.

– Она метиска. Ее отец был французом. А мать – камбоджийка.

– О, это прекрасно, когда отец француз...

– Она говорит, что вы пошли в авиацию из-за неудачной любви.

– Скажи на милость: она и про неудачную любовь знает?

– Зачем вы так? Она очень хорошая...

– Сколько ей?

– Тридцать.

– Молодец. Всегда надо учиться на женщинах, которые старше. Я начал с одногодок и только сейчас понял, какую сотворил глупость. Женщина, которая старше, понимает, что измена это глупость и мелочь... Переспал с кем-то – ну и переспал... Вообще-то мужчины совестливее женщин. Разница в возрасте, Билл, – единственная гарантия прочной любви. Запиши это, старина, запиши. Это купят даже в «Крисчен сайенс монитор» для раздела «Мысли бывалого идиота».

22.24

– Вот сволочь, – сказал Ситонг, – что это он к нам прицепился? Может, диверсанты передали им по рации, что я везу европейца? Они решили, что ты – какой-нибудь важный начальник, а не писатель, какой-нибудь Че Геварра, вот и охотятся. За простым Патет Лао они бы так не охотились...

– Зачем я им нужен? – усмехнулся Степанов. – Лишние дипломатические осложнения.

– Никаких осложнений. Бомбой разнесет в клочья, а они скажут, что это мы тебя... – и он присвистнул, изображая, что «они» сделали бы со Степановым.

– Да?

– Конечно.

И они оба рассмеялись.

– Ты отчего не женишься, Ситонг?

– Нельзя.

– Почему?

– Война идет.

– Тебе не страшно воевать, у тебя нет детей.

– Наоборот, – возразил Ситонг. – Когда есть дети – погибнуть не так страшно: после тебя останется на земле твое семя...

– А если ты останешься жив, а они погибнут? Тогда как?

Шофер осторожно кашлянул и быстро взглянул на Ситонга. Тот ничего не ответил, но Степанов заметил, как у него замерло лицо и вспухли желваки. Ситонг достал флягу и молча протянул ее Степанову.

– Не хочу. Спасибо.

Ситонг отвернул крышку и сделал несколько глотков.

22.30

– Вот теперь они едут, – сказал Билл, – только теперь они снова повернули во Вьетнам. Что это они – то сюда, то туда?

– Посмотри по карте – здесь начинается горный коридор, нет?

– Да. Точно. Я думаю, надо ехать домой, командир. Горючего не хватит – думается мне.

– Опять ты думаешь... Что это за манера такая, – проворчал Эд, прикидывая остаток горючего. – Ты не охотник?

– Что?

– Я спрашиваю – ты не охотник, случаем?

– Нет. Отец мне запрещал охотиться. Он говорил, что это негуманно. Чем лесные птицы виноваты, когда их бьют из ружей с собаками? Надо охранять живность – ее и так мало осталось на земле. У нас дома всегда жили утята... Вся наша семья любит уток...

22.34

– Гони! – закричал Ситонг. – Гони, скорей!

На этот раз он услышал самолет, когда уже было поздно выбегать: американец хитро подкрался из-за хребта и теперь догонял машину сзади.

– Стоп! – крикнул Ситонг.

Машина, взвизгнув тормозами, замерла на месте.

– Вперед!

Шофер дал максимальную скорость, но машина все равно ползла очень медленно, оттого что дорога по-прежнему шла вверх. Ситонг кричал на шофера, парень растерялся и, вместо того чтобы дать подсос, врубил большой свет. Длинный, как крик, луч белого света повис в ночи.

– Идиот! – заорал Ситонг. – Идиот! Гони скорей, за поворотом – скала!

«Какая скала? – подумал Степанов. – При чем здесь скала? Здесь кругом скалы».

– Гони! Гони! Кричал Ситонг.

– Не кричи, – сказал Степанов, – ему так трудно править.

И вдруг в луче света, примерно в двадцати метрах перед собой, они увидели спасение: дорога уходила в скальный тоннель.

Степанов никак не мог выдохнуть воздух, хотя ему хотелось это сделать, а самолет ревел где-то совсем рядом.

– Ты гений, Ситонг, – шепнул Степанов, – только бы успеть, ты гений...

22.35

– Уточек, – повторил Эд, – это хорошо, что вы любите уток. Большие вы все гуманисты, как я погляжу. А вот меня эта машина возбуждает, как кабан, который прошел номер охотника

за пределом выстрела. Видишь, чарли нас услышали и с перепугу включили свет. Наивные чарли, они думают, что мы сверху видим их по свету. Они совсем не думают о наших локаторах. Черт, куда это они делись? Успели-таки, – сказал он, откинувшись на спинку своего кресла, – спрятались под скалу. Молодцы. Здорово ездят эти лаосские парни.

Он прикинул по карте, когда они должны выйти из гор на равнину. Выходило, что примерно через пять часов они должны быть на равнине. Там, решил он, чарли от него никуда не денутся.

– Отбомбимся здесь, – сказал он, – через пять часов мы встретимся с ними на равнине.

– Да, командир, – ответил Билл и нажал кнопку. Самолет тряхнуло: бомбы полетели вниз.

22.38

Когда отгрохотало эхо и после взрыва бомб стало вокруг неприглядно темно, Ситонг, двигая нижней челюстью (видно, здорово заложило уши), сказал:

– Все. Теперь можно спокойно ехать. Через шесть часов я передам тебя с рук на руки, а там, во Вьетнаме, русские ракеты, там они не так лихо летают, там они побаиваются. Тебя не задело?

– Нет.

– А уши?

– Ничего.

– Едем, – сказал он шоферу, – или снова надо покрутить?

Шофер рассмеялся – он был веселым парнем – и ответил:

– Я же не выключал мотора!

Когда они двинулись дальше, он по-прежнему веселился, объясняя Ситонгу, что со страху он не успел выключить мотор и, пока американец бомбил, очень боялся, что комиссар услышит, как работает мотор, и даст крепкую выволочку: по инструкции мотор полагается выключать во время бомбежек.

– Интересно бы посмотреть в глаза этому летчику, – сказал Степанов. – Молча посмотреть ему в глаза.

– У него кровавые глаза. Что в них смотреть? В них надо стрелять.

Ситонг говорил неверно. Глаза у Эда были голубые, добрые, очень красивые. И Степанов смотрел в эти глаза дважды: первый раз в Скандинавии, во время фестиваля молодежи. И он не просто смотрел в эти глаза. Он был хорошо знаком с обладателем этих глаз.

Они тогда пошли вдвоем на шхуну «Мария» – это был штаб антисоветского центра. По скрипучей лесенке они спустились в прокуренный трюм; там ревел джаз и потные негры метались между столиками с бесплатным пивом. На стеллажах вдоль бортов были разложены брошюры НТС. От табачного дыма щипало глаза. К столику, за которым сидели Степанов и Стюарт, подошли два парня – маленький толстяк и белобрысый верзила в белом джемпере и мятых белых джинсах.

– Это мой друг, – сказал белый парень, тронув грудь спутника мизинцем, – он из Кении. Выкатив белки, тот широко улыбнулся.

– Меня зовут Ононкво, – сказал он, – я учусь в Киле. До этого я вкусил советского рая в Москве. Откуда вы, друзья?

– Я из Нью-Йорка, – ответил Эд и вопросительно посмотрел на Степанова.

– А я из Москвы.

– Русский? Почему вы здесь? Какой русский? – спросил белый парень, по-рязански окая.

– Советский.

Парень молча, тяжело разглядывал Степанова. К нему подошли еще несколько человек. Тогда он сказал:

– Лучше уйдите отсюда.

Столик теперь окружили тесным, жарким, тихим кольцом. Эд сидел бледный: с детства он боялся драк. Мать запрещала ему драться, и поэтому за ним утвердилась репутация труса. Позже он и сам поверил в то, что он трус. А потом он стал подшучивать над своей трусостью – чтобы ее скрыть. Люди не поверят, что человек, открыто вышучивающий свою трусость – на самом деле трус. Так, считают все, поступают люди сильной воли, очень храбрые, с хорошим чувством юмора.

Белесый парень вдруг очень тихо заматерился. Несколько человек взяли его за плечи, но он вырвался и ударил Эда – тот был к нему ближе, потом он бросился на Степанова. Степанов врезал ему апперкот – с подъема. Парень опустился на колени. Началась свалка. Потом Степанов услышал английскую речь: трое здоровенных верзил с военной выправкой раскидали дерущихся.

– Что это за бардак! – кричал Эд, вытирая кровь с разбитого рта.

– Кто вы? – спросил его один из трех верзил.

Эд назвал.

– А кто с вами?

– Я из Москвы, – ответил Степанов.

В дальнем углу шхуны начал биться Ононкво.

– Пустите меня! – кричал он тем, кто держал его за руки. – Я покажу сейчас этому из Москвы!

Самый высокий из трех американцев медленно обернулся и негромко сказал:

– Шат ап!

И парень сразу стих. Два американца ушли куда-то и через минуту возвратились с невысоким седым человеком.

«Где я видел его? – подумал Степанов. – Где-то я его видел, это точно. Ага, он приходил на литературную дискуссию».

– Здравствуйте, товарищ Степанов, – сказал седой, – меня зовут Виктор Михайлович. Бога ради, простите этих ребят: они дети горькой русской эмиграции, в их сердцах постоянная боль. Ведь ни одна нация, кроме русской, не знала такой опустошительной эмиграции. Кто это с вами?

– Эд Стюарт, писатель из Штатов.

Виктор Михайлович кивнул Эду и сказал:

– В России перемены... Идти вдвоем с американцем к нам на шхуну... Не бойтесь, что дома потревожит КГБ?

– Боюсь, – ответил Степанов. – Видите, как боюсь...

– Он что – из ваших американцев?

– То есть?

– Марксист?

– Почему? Нормальный империалист.

– У вас тут есть что выпить? – спросил Эд. – Кроме пива, конечно.

– Я говорю только по-немецки, – ответил Виктор Михайлович. – Что он спрашивает?

– Он хочет выпить.

– У нас вообще-то безалкогольный студенческий корабль, но вас я угощу из своих запасов.

– Вы тоже студент? Или как?

– Я преподаватель.

– Чему учите? – хмыкнул Степанов.

– Хватит об этом, – улыбнулся Виктор Михайлович. – Я сейчас вам принесу «Посев». Мы защищаем вашу последнюю книгу от советской критики. Герр Шульц! – крикнул он вдруг страшным, немецким, командным голосом. – Герр Шульц! Три виски! Герр Шульц!

Появился здоровенный, толстый немец.

– Кто это? – спросил Эд одного из американцев, которые по-прежнему стояли чуть в стороне, словно родители, наблюдающие за тем, как играют детишки.

– Это их Гиммлер, – засмеялся самый высокий американец, – какой-то оберфюрер.

– При чем тут Гиммлер, – поморщился Виктор Михайлович. – Этот американец говорит по-русски?

– Ни бельмеса, – ответил Степанов.

– Обычная американская невоспитанность. Молодая нация, нет культуры, ничего не поделаешь. Герр Шульц – старый демократ.

Потом Степанов и Эд долго ходили по набережной. Белые ночи были на изломе. В серых, зыбких ночных сумерках лица людей были трагичны и нереальны.

– Политика может простить ту или иную ошибку, но она не простит глупости, – говорил Степанов задумчиво. – Живет у вас Керенский, Струве, тысячи других наших эмигрантов – и пусть себе живут. Но когда вы поддерживаете НТС, то вы поддерживаете фашизм: они шли с Гитлером во время войны и сжигали в печах детей.

– Почему вы думаете, что мы их поддерживаем?

– Откуда на шхуне появились три ваших паренька в штатском?

– Вы думаете, они – наши?

– Уж не наши, во всяком случае.

Эд рассмеялся.

– Только не думайте, – сказал он, – что если я ругаю моего президента, то, значит, я выступаю за вас. Ругать тех, кто неверно правит твоей родиной, совсем не значит желать ей зла. Часто – наоборот.

– Вы ругали своего президента?

– Буду. Когда вернусь.

– В какой газете? Я посмотрю.

Эд назвал газету, от которой он приехал.

– Между прочим, который час? – спросил он. – В потасовке я потерял часы.

– Что ж после потасовки не поискали?

– Я щупал ногой под столом. Там не было.

– Богатая вы нация, – сказал Степанов, – можно было и руками пощупать. А времени сейчас половина третьего.

– Ого! – присвистнул Эд. – Жена в гостинице лезет на стену.

– Всякий порядочный мужчина должен немного бояться жены, – сказал Степанов, – жену не боится только прощелыга или гений.

– Не всякий гений, – добавил Эд, – а только тот, который вступил в брак уже состоявшимся гением.

– Это вы к тому, что нет пророка в своем отечестве?

Эд поднял палец, остановился и записал что-то в книжечку: каждый человек строит себе баррикаду на тех мудростях, которые утверждают его в своих же глазах.

23.20

Эд спросил Билла, когда они вышли из штурманской прокуренной комнаты:

– Ты куда? К туземной женщине?

– Не знаю, командир, – ответил Билл, смутившись, – сначала я хочу посмотреть на белых женщин.

– Где ты их тут увидишь?

– Сегодня должны прилететь какие-то благотворительные журналистки из дома. Они путешествуют по Азии и должны завернуть сюда из Бангкока.

- Все наши журналистки забыли, когда у них кончилась зрелость...
- Что? – переспросил радист. – Что они забыли?
- Эд снова засмеялся и сказал:
- Иди к черту, старик, ты невозможен.
- А куда вы?
- Я спать. Через пять часов мы с тобой выедем, так что не увлекайся бабушками.
- А я могу не спать двое суток.
- Да?
- Я так думаю.
- Ясно, мыслитель. Ну, пока.

Эд бросил свой джип где-то под деревом, в спешке, и сейчас, чертыхаясь, хлопал себя по карманам: фонарик, конечно, он оставил в кабине.

«Глупость какая, – думал он, – зачем мне в кабине фонарик? Если угрожают – фонарик уже не потребуется. А сесть на вынужденную в скалах невыносимо. Сказано, чтоб держать в кабине – и держу. Болван. Мы все любим жить по предписанию; удел мышей – жить по предписанию. Никакой ответственности – за тебя все расписано».

Ночь была безлунной, темной. Эд наткнулся на камень, выругался, заскакал на одной ноге. Он вспомнил, как над ним подшутили ребята в школе. Он очень любил представлять себя знаменитым футболистом. Он выучился ловко бить мыском камушки и жестяные банки из-под пива. Однажды ребята завернули в белую бумагу тяжелый камень и положили его на дороге. Эд, конечно, ударил по этой бумажке мыском и упал, потеряв сознание от боли.

«Интересно, как фамилия того, кто это придумал? – подумал Эд. – Ему бы надо взять фамилию Гитлер».

Кто-то метрах в десяти от него включил фонарь. Острый луч света ослепил Стюарта.

– Эй, – сказал он, – осторожней. Посвети пониже – где-то здесь моя машина... И не свети в глаза – я так слепну.

Ему никто не ответил, но рука, державшая фонарик, послушно опустилась вниз, и Эду показалось, что человеку было тяжело опускать руку, – так упруг и весом был луч света. Листья в этом мертвом белом свете были черной, неживой, похожей на чугунную. Днем она была нежно-зеленой, хрупкой.

Эд увидел свой джип и сказал:

– Погоди выключать. Я сяду за руль, и тогда выключишь.

Фонарик послушно освещал его машину. Эд вспрыгнул на сиденье. Прыгающий луч света приближался к нему.

– Кто ты? – спросил Эд. – Освети себя.

Яркое пятно света все приближалось.

– Эй! – сказал Эд. – Покажи себя, парень!

Ему вдруг стало холодно, и тело покрылось потом.

«Чарли! – мелькнуло в мозгу. – От аэродрома сто метров, рядом – джунгли, и никого нет!» Он ударил себя по левой ляжке: кобура с пистолетом осталась в самолете. И тогда он пронзительно закричал – визгливым срывающимся голосом. Свет исчез. На том месте, где он только что был, зияла черно-зеленая пустота, расходившаяся постепенными радужными кругами.

– Не кричи, – сказал знакомый голос, – не кричи так страшно, дурачок.

Сердце его колотилось где-то в горле, руки мелко тряслись: так с ним было первый раз, когда он проходил сквозь заградительный огонь зениток возле Самнеа.

Кто-то опустился рядом с ним на сиденье, и тогда, в близкой темноте, он увидел лицо жены.

– Зачем ты приехала, Сара? – спросил он хрипло.

23.20

– Ну-ка, вруби фары, – сказал Ситонг, – что-то на дороге чернеет.

Когда шофер включил свет – через секунду, не больше, – прогрехотала автоматная очередь и машина сразу осела на правое колесо. Ситонг кошкой выскочил из кабины и, бросившись к тому черному, что перекрывало дорогу, на ходу дал ответную очередь, прижав автомат к животу. Степанов, падая на теплую каменистую землю, ясно представил себе, как Ситонг стреляет: когда они попадали в перестрелки, Ситонг бил из автомата, завалив его влево – от живота, бил мастерски, не целясь.

Прогрехотала ответная очередь. Другая. Третья.

«А из разных бьют, – подумал Степанов, – плохо дело-то. Их, значит, там не меньше трех».

К Степанову подполз Ситонг и молча протянул пистолет. Степанов отрицательно покачал головой.

– Почему? – спросил Ситонг одними губами, но он лежал совсем рядом, и Степанов понял его вопрос.

– Если возьмут – сразу поднимут визг: «вооруженный русский», – ответил он, подумав при этом: «И дома потом, если выменяют, затаскают по начальству».

Ситонг положил рядом со Степановым свой длинный нож и отполз к шоферу. Они пошептались о чем-то, и Ситонг исчез. Шофер подождал несколько минут, а потом дал из своего трофейного американского автомата очередь по тому темному, что было впереди, на дороге. Ему ответили сразу из трех автоматов.

«Значит, их не больше, – подумал Степанов. – Выкрутимся».

– Сколько прошло времени? – шепнул шофер.

– Не знаю.

– Посмотрите на часы.

– У меня стрелки не светятся.

– Покажите мне.

Степанов вытянул руку с часами. Шофер приник лицом к часам, а потом шепнул:

– Без пяти шесть.

– Не может быть, – ответил Степанов. – Ты спутал. Наверное, половина двенадцатого.

Шофер хихикнул в темноте.

– Я всегда путаю стрелки, – сказал он, – особенно в темноте. Конечно, сейчас половина двенадцатого. В шесть часов начинают светлеть облака на востоке.

Степанов с трудом понимал парня – тот говорил очень цветистым языком. «Наверное, из Саванакета, – подумал Степанов, – там особенно красочный язык».

Снова прогрехотала очередь. Шофер не отвечал. Он потянул к себе руку Степанова и снова приник к часам.

– Пора, – шепнул он. – Если они побегут на вас, хватайте за ноги и бейте ножом.

– А ты?

– Я буду рядом, просто я говорю на всякий случай. Разите коварного врага ножом в горло, – закончил он саванакетской цветистостью.

И шофер отполз в сторону. Именно оттуда через минуту-две он дал несколько очередей, а потом закричал что-то пронзительное – Степанов так и не разобрал что. С дороги ответили очередями – Степанов видел красно-белые точки, разрывавшие черное полотно ночи, а потом выстрелы загрохотали в другом направлении, красно-белых разрывчиков уже не было, а после он услышал голос Ситонга впереди и почувствовал, как кто-то невидимый бежал прямо на него по теплой каменистой дороге.

«Ну вот, сейчас, – сказал он себе. – Вот он рядом».

Но он не успел броситься на бегущего: чья-то стремительная тень метнулась от скалы. Степанов слышал, как человек тяжело упал. Потом он слышал тяжелые удары, и сопение, и стон, а после Ситонг закричал:

– Включайте фары!

Никто ему не ответил, но сопение где-то совсем рядом и тяжелые удары он по-прежнему слышал. Степанов поднялся, подошел к «газику» и включил свет. В белом луче он увидел шофера, который сидел верхом на человеке в серой куртке и бил его сцепленными руками по голове. Кровь на лице человека была черной.

– Эй, – негромко сказал Ситонг, – хватит. Он же не двигается.

...Двух диверсантов он уложил наповал, а третий, который ринулся вперед от неожиданного прогрохотавших сзади выстрелов, теперь лежал без сознания на дороге, и шофер по-прежнему яростно колотил его: звук был такой, будто мокрое белье били о камни.

Ситонг раскидал завал, который диверсанты сделали на дороге, шофер менял простреленное колесо, а Степанов сидел возле пленника и смотрел, как тот медленно приходит в себя. Подошел Ситонг, тронул человека ногой и сказал:

– Не наш. Это вьетнамец. Они сюда забрасывают диверсантов из Сайгона.

– Как ты определил?

– По лицу. Разве он похож на нас?

Степанов взглянул на пленника: тот был похож на Ситонга как две капли воды. Хотя, вспомнил он, в Ханое ему говорили, что все европейцы кажутся в Азии похожими друг на друга. «У нас лица разные, а вы все одинаковые, как братья». Степанов тогда удивился: «Но ведь у нас есть блондины, рыжие, брюнеты». Ему ответили: «А мы не смотрим на волосы. Мы смотрим только на форму глаз и на цвет кожи».

– Вставай, – сказал Ситонг пленному и тронул его мыском своих драных кедров. – Ну!

Пленник лежал не двигаясь, но глаза открыл.

– Что ты с ним говоришь? – удивился шофер. – Пусти ему пулю в лоб.

– Вставай, – повторил Ситонг.

Человек по-прежнему не двигался.

– Не понимает по-нашему, – сказал Ситонг. – Попробуй с ним по-американски.

– Нечего с ним по-американски, – снова повторил шофер из темноты, – ему надо пустить пулю в лоб.

– Он пленный, – сказал Ситонг.

– Он диверсант и стрелял нам в спину.

– Он стрелял нам в грудь.

– Какая разница?

– Разницы никакой, – согласился Ситонг, – только он пленный.

– Вы говорите по-английски? – спросил Степанов.

Пленный сразу поднялся, и лицо его дрогнуло и стало растерянным.

– Кто вы? – спросил он.

– Патет-Лао, – ответил Степанов. – А вы?

– Пусть говорит правду, – сказал Ситонг. – Скажи ему, что у нас мало времени и трудно с местом в машине. Переводи, перевод! Переводи, – повторил он. – Они бомбят наши госпитали. Они заставляют нас говорить так.

– Откуда вы? – спросил Степанов. – Ваше имя?

– Я из Гуэ. Меня зовут Нгуэн Ван Хьют. Меня забросили американцы.

Степанов перевел.

– Спроси его – будет он говорить все моему командиру?

– Да, – ответил пленный. – Конечно.

– Спроси его: зачем он прилетел к нам?

Пленный долго молчал. Это был не молодой уже человек, очень худой, слишком для вьетнамца высокий. Хотя, может быть, он показался таким Степанову из-за худобы.

– У меня же семья, – очень тихо ответил человек, и губы его затряслись.

23.45

– Я не хочу в бар, – сказал Эд. – Я никуда не хочу, Сара.

– А я очень хочу, – сказала она и прижалась лицом к его плечу, и стало ему от ее прикосновения пусто и горько.

– Не надо, – попросил он.

– Нет, надо.

– Зачем ты прилетела сюда?

Сара отодвинулась, поправила прическу и ответила:

– У тебя есть сын, Эд. У тебя есть семья.

– Я предал самого себя из-за семьи, из-за сына, из-за тебя, – ответил он. – Ты получаешь деньги, Уолту пока еще не бьют морду из-за того, что его папа бомбит Азию, – чего тебе еще надо? Из-за вас я потерял самого себя – чего вам всем от меня надо?

– Теряют, когда есть что терять.

– Ну вот, видишь... О чем же нам говорить? О чем, Сара?

– Ты ведь сам хочешь, чтобы все наладилось.

– Ненавижу, когда за меня говорят. Если бы я хотел, чтобы наладилось, я бы сказал тебе об этом. Кто из нас двух лучше знает меня: я или ты?

– Я.

– В каждом человеке живет много людей. Ты знаешь меня одного, мой радист – другого, мальчик – третьего, лаосцы – четвертого, а я – знаю себя пятого. И все мы разные. Ты всегда хотела, чтобы я был одним. Тебе надо было выйти замуж за клерка из рекламного бюро: они отличаются спокойной одинаковостью, а человек, который пишет или снимает, – обязательно должен быть психом. Ты этого никогда не могла принять, я шокировал тебя тем, что я был таким, каким был, а не был таким, как все.

– Ты изменял мне, Эд. Ты предавал меня с потаскухами, а я всегда была тебе верна.

– Сосуществование – это отнюдь не любовь, Сара, но любовь – это обязательно сосуществование! Любовь предполагает уважение к индивидуальности. Иначе – получается ярмо собственности. Ты считала меня своей собственностью, а человек принадлежит только самому себе.

– Я всегда была верна тебе, Эд. И меня никогда не тяготила эта верность.

– Что ты кичишься этим?! Что – верность?! Медаль за храбрость? Счет в Лозанне?! Когда верность делается тиранией, так лучше пусть будет взаимоуважительная неверность.

– Тебе всегда хотелось, чтобы я изменила тебе, я знаю. Ты всегда по ночам расспрашивал меня: «Как тебе было бы с другим? Представь, что я другой...»

Стюарту вдруг стало мучительно гнусно: так ему было однажды, когда он пошел в клинику – смотреть аборт. Он писал повесть, и ему надо было описать аборт. Он после этого уехал на два месяца во Флориду и пил, не просыхая, чтобы забыться.

– Ты все помнишь, Сара, – сказал он, – у тебя прекрасная память. А я, когда спрашивал тебя о чем-то ночью, не помнил ничего днем...

– Не ври себе, Эд.

И он понял, что она сейчас сказала правду, и это родило в нем злость.

– Скотина! – сказал он, сморщившись.

– Это ты – скотина, – тихо ответила Сара, – это ты подлая скотина, а не я.

– Так зачем ты приехала сюда?!

– Потому что я тебя люблю...

23.47

Ситонг укрыл трупы двух диверсантов брезентом, связал руки пленному и сказал шоферу:

– Едем.

Шофер сказал:

– Все-таки лучше бы его тут пристрелить. Вдруг впереди еще одна группа? Что тогда нам с ним делать?

Ситонг попросил Степанова:

– Переведи-ка – их выбросили одних или были еще группы?

– Было еще четыре группы, – ответил пленный. – По три человека в каждой.

– Их бросили вместе?

– Вас бросили вместе? – перевел Степанов.

– Нет. Нас бросили последними.

– А те группы тоже должны делать засады на дорогах?

– Да.

– Где?

– Я не знаю.

– Ладно, – сказал Ситонг, – поехали. Мы успеем от него избавиться, если те нападут.

– Враги коварны, ночь темна, и нету серебристой луны, – как всегда, цветисто сказал шофер, включая мотор.

Они проехали километров пять, и Ситонг попросил:

– Останови машину. Я весь измазался кровью.

Шофер остановил машину. Ситонг включил фонарик: весь брезент был черным от крови.

– Как будто оленя везем, а не диверсантов, – усмехнулся он.

Степанов вспомнил якутскую тайгу. Он бродил там вдвоем с охотником Максимом: они промышляли белку. В тот год было хорошее белковое – в тайгу ушли целые деревни, а в домах остались только глубокие старики и школьники. Малышей родители тоже забрали в тайгу, и поэтому поселки были тихие-тихие, будто военные.

Они с Максимом вышли однажды к избушке старика, который раньше был шаманом. К нему перестали ходить люди, потому что приехала девушка-врач. И старик, чтобы не голодать, начал охотиться за волками. Он брал на фактории стрихнин и выслеживал волков – они очень много задирали оленей. Он на это жил: за каждого волка ему давали пятьдесят рублей и двух оленей. Он даже по этому поводу выступил во время предвыборной кампании: рассказал жителям, как он плохо жил раньше и как хорошо ему жить теперь, когда он не эксплуатирует суеверия, а зарабатывает себе пропитание собственным трудом.

Когда Максим и Степанов пришли к нему домой, старик был болен. Он сидел на крыльце и грелся под последним осенним солнцем. Оно уже было не теплым, но все равно старик считал его целебным, потому что раньше он поклонялся солнцу и думал, что оно только и может вылечить либо навлечь болезнь.

Рядом с крыльцом стоял старый олень – такой же старый, как и бывший шаман. Зубы у него были желтые, стертые.

– Лечиться буду, – сказал старик.

– А чего тебе лечиться? – спросил Максим. – Ты нас переживешь.

Старик – довольный – засмеялся, обнажив коричневые зубы.

Он долго грелся на солнце, а потом пошел в дом – за топором. Топор был старый, плохо точенный, но тяжелый. Старик обвязал ноги оленю, которого ему привели утром за убитого волка, и присел на крыльцо – отдышаться. Потом он взял топор и, долго прицеливаясь, ударил оленя обухом по голове. Олень дрогнул, но не упал, и только в его старых, замшелых, серых

глазах высверкнуло черно-красное. Старик ударил его еще и еще раз, и олень упал. Старик вытер с лица пот, ушел в дом и принес большой таз. Он приподнял голову оленя и подсунул под его шею таз. Олень плакал. Старик взрезал ему шею, и дымная кровь полилась в таз, и он пил ее из таза, пачкая лицо. Он долго пил дымную кровь оленя – это самое ценное лекарство здесь от всех болезней и от старости тоже. А потом, шатаясь как пьяный, ушел в дом, повалился на лавку и уснул.

Вечером Степанов, спавший с Максимом на печке, увидел, как старик, совсем уж и не сгорбленный, легко ходил по комнате, мурлыкая что-то под нос, укладывал рюкзак: видно, он собрался в тайгу.

– Кровь все лечит, – сказал он, увидев, что Степанов не спит, – наша доктор меня за это не ругает. Молодец, старый, говорит, до ста, говорит, доживешь. А мне уже сто три, – засмеялся он.

– Здесь сверни, – сказал Ситонг, вглядываясь в темноту, – и здесь, по ручью, в скалах наши пещеры.

– А может, рванем напрямик? – спросил Степанов.

– Надо сдать пленного. Не повезу же я его во Вьетнам и обратно. И взять запасное колесо. И шоферу хоть часок поспать: дальше самая опасная дорога через равнину...

23.57

Молоденькая девушка, видимо тайландка, делала стриптиз на маленькой, ярко высвеченной сцене.

«Сейчас она улыбнется, – подумал Эд, – она всегда улыбается в этом месте».

– Когда она начнет стягивать рубашечку, посмотри, как она будет улыбаться, – сказал он Саре.

– Ты уже изучил этот номер?

– А сейчас, когда опустится на пол, она начнет кусать губы и закрывать глаза от страсти.

– Бедная девочка. Вы ее тут, наверное, уже все изучили?

– Она единственная девственница в этом городишке.

– Это ты выяснил точно?

– Это я выяснил точно.

Ему очень хотелось, чтобы девушка хоть на минутку забылась, но она была хорошо вышколена антрепренером, месье Жюльеном, и поэтому она начала закатывать глаза, кусать губы и стонать.

– Что ты будешь пить?

– Виски со льдом.

– А потом устроишь мне истерику, если девочка после номера подойдет к столику? Она часто подходит ко мне и садится рядом, мы беседуем с ней о литературе – как это ни смешно...

– Я забыла, как ревнуют, Эд.

– Ты это быстро вспомнишь.

– Я ревновала тебя, только когда мы спали вместе.

Он смотрел на Сару. Она не видела, как он на нее смотрит, потому что разглядывала зал.

«Как же она красива, – думал Эд, – и как я любил ее... С чего же начался крах?»

Вернувшись из Скандинавии, Праги и Берлина, он написал для газеты, которая субсидировала его поездку, цикл очерков.

Он писал, в частности, что юность мира хочет жить в мире, но им этого не дает делать ненависть и подозрительность, оставшаяся в наследство от уходящего поколения.

«Господин президент, – писал он, – живет мнением советников, выстроивших курс и ставших после рабами этого курса. Стране угрожает бюрократическая олигархия. Если не разрушить замкнутый круг правительственных бюрократов, связанных с интересами монополий,

и не соединить президента и конгресс напрямую с народом, то наша великая демократия может вскорости вылиться в диктатуру плутократии. Политику следует строить, базируясь на Институте Гэллопа, который держит руку на пульсе общественного мнения. Болтать о демократии – еще не значит быть демократом. Наша страна имеет все шансы вскорости сделаться жупелом ужаса. Нами будут пугать детей, господин президент. Ревизия нашей политики необходима. Назад, к Рузвельту – означает вперед, к истинной демократии. Твердость курса хороша только в том случае, если наша программа лучше всех остальных в мире. В противном случае “твердость курса” может означать только одно: трусливое своеволие бездарных плутократов!»

Редактор газеты, для которой он ездил на фестиваль, встретил его, мило похихатывая. Он то и дело гладил свой живот нежным движением руки слева направо: ему объяснили врачи, что это – прекрасный способ помогать пищеварительному процессу, не истощая себя диетой.

– Мальчик мой, – сказал он, предложив Эду сесть рядом, – я прочитал ваши опусы. Но это написано для «Дейли уоркер». Это не для нас, ведь мы – серьезное издание.

Эд пожал плечами, улыбнулся:

– Липпман пишет похлеще.

– Станьте Липпманом. Человек, критикующий наши основы с позиций Липпмана, – это одно, а вы – совсем другое.

– Какое «другое»?

– Малыш, – сказал редактор, прекратив поглаживания своего громадного живота, – не сердитесь на меня, но я скажу вам правду. Вы – *ничто*. Пока – ничто. Каждый человек может написать пару книжек про то, как он ложился в постель со своей первой женщиной. Это даже могу написать я. Когда нашего президента и наш курс бранит Липпман – он выдвигает альтернативу, призванную укрепить наши позиции. Наши, малыш, наши! А не их! Состоявшийся человек – будь он писателем, бизнесменом или врачом – всегда будет отстаивать, *наши* позиции. Бунтарство – удел параноиков, экспансивных бездарей или умных авантюристов, которые поняли, что *нашими* благами они смогут воспользоваться, лишь сбросив нас, а отнюдь не уповав на свои деловые либо интеллектуальные способности. Если бы вы были лауреатом премии Пулитцера или еще лучше – лауреатом Нобелевской премии, я бы с радостью напечатал вашу вещь, не тронув ни строчки. Это будет хорошая сенсация: один из *наших* восстал против *нас*. Значит, действительно кое-что следует переосмыслить. А сейчас некое *ничто*, научившись слагать литеры в слова, а слова в фразы, выступает против *нас*. А это уже пахнет жаждой крови тех, кто смог добиться чего-то в нашей жизни – своим трудом, ранами, горем.

– Вы что, не хотите меня напечатать?

– Почему? Я же сказал – если вы получите какую-нибудь премию, я напечатаю вас, не тронув ни строчки.

– При чем тут премия? – пожал плечами Эд.

– При том, что политика – это всегда союз нескольких сил, целенаправленных против иного союза сил. Союз предполагает равенство значимости. Я – это я. Я могу постоять за себя. А вы? Чем вы постоите за себя? Чем вы поддержите меня, если мы начнем драку? Мы с вами – против президента и тех сил, которые стоят за него? Зачем мне идти на заведомый проигрыш? Удар обрушится не на вас, написавшего, – мы живем, слава богу, в демократической стране, – а на меня, опубликовавшего это, – редактор ткнул пальцем в листки голубоватой бумаги, лежавшие на его округлых коленях. – Я это все говорю оттого, что добро к вам отношусь и не хочу вашего духовного краха. Политика – это игра равных, в противном случае это уже не политика – это бунт.

За поездку в Европу Эд был должен редакции полторы тысячи долларов. Он вернулся домой злым и растерянным. Сара сидела в ванной комнате возле большого зеркала и причесывалась. Он поцеловал ее в затылок и посмотрел в зеркало, устремив взгляд в свой взгляд. Сара сказала:

– Знаешь, Уолт сегодня сам ходил, без помочей.

Эд посмотрел в приотворенную дверь: малыш спал в кровати, раскрывшись. Его рыжие кудряшки прилипли к вискам – лето было очень знойным.

– Эд, – сказала Сара, кончив причесываться, – надо нам уехать в пригород, здесь жить невозможно: я очень боюсь за мальчика, такая жара... И тебе там будет спокойнее работать. Сейчас можно купить недорогой дом – возле Шерфелда. Мари написала мне, что там продается дом.

Он рассказал ей о том, как с ним говорил редактор.

– Не обращай внимания, – сказала Сара, – пиши то, что тебе хочется писать.

– То, что мне хотелось написать, я написал, но это не печатают.

– Сядь за повесть.

– Я могу сесть за повесть, если я знаю, какой она будет. Я сейчас не могу сесть за повесть, потому что ее нет у меня в голове. Я сейчас хочу опубликовать то, что я написал, это мой долг.

– Ну так опубликуй.

– Не публикуют, – усмехнулся он.

– Ну и не надо, – сказала Сара, обняв его. – Ну и пусть не печатают.

– А что мы будем есть? И как быть с недорогим коттеджем в пригороде?

– Ну, придумаем что-нибудь...

– Что я могу придумать? Я ничего не могу придумать.

Он пошел к себе в кабинет, снял пиджак, бросил его на спинку кресла, развязал галстук. Рубашка прилипла к спине. «Надо надевать майку, – подумал он, – а то кажется, будто оплевали все лопатки». На столе, аккуратно скрепленные зажимом, лежали счета – за свет и от портного. Эд почесал затылок, бухнулся на тахту и стащил с себя мокрую рубашку. Вошла Сара. Она присела рядом с ним. На ней была коротенькая серая туника.

«Завтра поеду к Тому Маффи, – думал Эд, – он любит резкий и категоричный стиль. Его газета это может взять. Тогда я хотя бы рассчитаюсь с долгом, тогда еще можно будет выкрутиться...»

Сара прилегла рядом с ним и стала целовать его плечи и грудь. Глаза ее были полузакрыты, а красивые пальцы сжимали шею Эда. Она знала, что он очень любил по ночам, когда она гладила его шею – сильно гладила своими длинными нежными пальцами.

– Подожди, Сара, – сказал он, отодвигаясь. – Откуда там счет на девяносто долларов?

Она открыла глаза и сразу же отодвинулась от него. А потом резко поднялась и, выходя из кабинета, сказала:

– Там же написано, милый. Прочти внимательно.

– Сара, – позвал он ее. – Сара!

Она не ответила. Он вздохнул и пошел в спальню. Она сидела возле спящего Уолта, накинув на себя длинный халат.

– Что ты? – спросил он.

– Ничего, – ответила она, – говори, пожалуйста, тише, мальчик еще должен спать полтора часа...

23.59

Машина теперь спускалась вниз – по узкому ущелью. Ветви огромных деревьев срослись над дорогой, и поэтому казалось, что путь шел через тоннель.

– Можешь включить фары, – сказал Ситонг, – все равно сверху не увидят.

Шофер врубил фары. Свет метался по громадным стволам диковинных деревьев. Несколько раз Степанов заметил вырезанные на коре большие сердца, пронзенные стрелами. Когда фары осветили еще одно сердце, Степанов попросил шофера остановиться. Он вылез

из машины и подошел к дереву. Под сердцем были написаны инициалы и вырезана дата: «17 августа 1967 года».

– Ситонг! – крикнул Степанов. – А что тут пониже написано?

– Там написано: «Понг и Кемпет = любовь», – ответил он, не вылезая из машины.

«В августе здесь особенно сильно бомбили, – вспомнил Степанов, – каждый день по несколько раз. “Понг и Кемпет = любовь”. “Маша и Коля = любовь”. Только у нас пишут не “и”, а “+” «Маша + Коля = любовь”. И вся разница».

Дальше они ехали быстрее, потому что дорога была не очень изрыта воронками. Впереди замаячили странные фигуры в белых одеждах. Когда машина подъехала ближе, Степанов увидел, что все люди смеются, пританцовывая, что-то поют. Люди смеялись странным, заданным смехом, то и дело утирая со своих впалых щек слезы.

– Что это? – спросил Степанов.

– Похороны, – ответил Ситонг. – Наверное, хоронят бонзу. По обычаю, во время буддистских похорон надо смеяться и радоваться, чтобы не тревожить дух умершего. Он должен уходить на небо провожаемый весельем, а не слезами.

Ситонг открыл дверцу и, попросив шофера притормозить, спросил:

– Кто умер?

Старик в белом халате ответил:

– Мост через ручей восстановили...

– Я спрашиваю – кого хоронят? – повторил Ситонг.

– А? – прокричал старик. – Воронки? Какие воронки?

– Хоронят его внука! – кашлянув, ответил юноша, шедший рядом, тоже в белом халате. – Его вчера убили при бомбежке. Старик оглох, не сердитесь на него... – И он пошел дальше, шмыгая носом, но сохраняя на лице гримасу смеха.

Ситонг захлопнул дверцу и сказал шоферу:

– Нажми, а?.. Можешь как следует поднажать?

Ситонг достал сигарету; разломил ее пополам и протянул половинку пленному. Он очень резко повернулся, протягивая эту половину сигареты, и пленный испуганно шарахнулся: он решил, что Ситонг хочет его ударить.

– По себе мерит, – сказал Ситонг и попросил Степанова: – Переведи ему на американский, что мы не бьем пленных.

– Я его бил, – сказал шофер, – зачем говорить неправду?

– Ты бил не пленного. Ты бил его, когда он был вооружен автоматом и ножом. Ну-ка, притормози.

Впереди по дороге медленно шел старый монах в широкой желтой юбке.

– По-моему, это его святейшество Ка Кху, – сказал Ситонг, – тот такой же сутулый. Останови, подвезем, он, верно, с похорон.

Только когда машина остановилась возле него, Ка Кху обернулся. Он узнал Ситонга и ответил на его приветствие тихим, ласковым голосом. Степанов подвинулся, и монах сел рядом.

– Здесь совсем недалеко, – сказал он, – я бы мог дойти.

У входа в пещеру их встретил служка Ка Кху – высокий бритоголовый парень. Он обжаривал на костре оленью ногу. Сало, стекая, капало в костер, и от этого огонь ярко вспыхивал, становясь сине-желтым.

– Я скоро вернусь, – сказал Ситонг, – сдам пленного и скоро вернусь.

– А мы пока попьем чаю, – сказал Ка Кху. – Хотя пить чай – это привычка, и моя религия считает привычку самым главным злом в мире, тем не менее выпить крепкого зеленого чая – очень приятно...

– Правильно ли считать привычку главным злом? – спросил Степанов, глядя вслед уезжавшему «газику». – На земле есть кое-что похуже.

– Земля населена людьми, – мягко улыбаясь, ответил Ка Кху, – а люди сотканы из привычек. Привычки – это жалкий слепок сути. Люди стремятся не к счастью, но к привычному понятию счастья. Привычная жажда привычных благ рождает в мире суету, а Будда считает суету злом. Будда – над привычками, и поэтому он счастлив, ибо свободен. Люди закабаляют себя, принимая от уходящих поколений привычки.

– В таком случае, они закабаляют себя и принимая от уходящих привычку верить...

– Верить во что? Вы имеете в виду веру в Будду?

– Не только в Будду... в Иегову, Христа, Мохаммеда...

– Христос – это иное. Христиане ставят человека под власть Бога, они отделяют человека от Бога. А Будда никогда не настаивал на незыблемости своих догм. Принцип Будды – отрицание отрицания. Только мы отрицаем устаревшую догму не с привычной кровожадностью к чужой ошибке, но с уважением к отринутому, ибо оно натолкнуло нас на истину. На ту истину, которая тоже, рано или поздно, будет отринута потомками. Рождение нового и смерть старого – это звенья одного процесса развития.

– Как бы это получше объяснить людям? – улыбнулся Степанов.

– Людям мешает привычная система мышления.

– Может ли человек избавиться от привычки?

– Будда смог. А каждый человек может стать Буддой, если он готов победить в себе зло.

– Как это сделать?

– Смирить привычную гордыню. Человек должен исповедовать систему вакуума.

– Как это? – не понял Степанов.

Монах поднял с пола пачку сигарет, оглядел ее со всех сторон и спросил:

– Что это?

– Сигареты, – ответил Степанов.

– Почему? А может быть, это – ящерица? Или кабан? Почему это – сигареты? Только потому, что я имею глаза – раз, в пещере есть свет – два, пачка сама по себе имеет форму и цвет – три, мои пальцы ощущают форму – четыре и, наконец, все эти объективные компоненты складываются в понятие, которое отныне будет заложено в меня – в мой вакуум. Как только человек перестанет быть вакуумом, способным воспринимать новое, он делается рабом привычных понятий, он перестает явления пропускать через себя, он духовно погибает. А что логичнее воспринять вакууму: добро или зло? Конечно же добро.

– Добро – не пачка сигарет, – ответил Степанов. – Это не объемное понятие, но термин, который каждый человек понимает по-разному; все зависит от того, в каких условиях, – Степанов улыбнулся, – в каких привычных условиях жил человек, кто его воспитывал и наставлял... Американцы, которые бомбят ваши пагоды и школы, считают, что они сражаются со злом во имя добра.

Ка Кху тоже улыбнулся и очень мягко ответил:

– Быстрота и категоричность мышления – тоже привычка. Вы торопитесь в вашем мышлении. Наши враги привычно считают, что они выполняют свой долг перед их родиной. Я слежу за радиопередачами из Америки; назовите мне хотя бы одного нашего врага, приехавшего на эту войну добровольно. Непривычно для людей только одно – смерть. А тысячи смертей их солдат заставляют Америку искать зло в происходящем. Поиск зла – это всегда путь к добру. Их солдатами движет не порыв, но привычка выполнять приказ.

– Сдаюсь, ваше святейшество, – сказал Степанов, поднимая руки: он боялся обидеть этого сутулого старика с громадными скорбными глазами.

– «Сдаюсь» – это термин войны, а религия Будды – это учение мира и любви.

– А как быть с любовью? – не удержался Степанов. – Любовь – это тоже привычка?

- Да.
- Значит, любовь порочна?
- Суетна, – улыбнулся Ка Кху. – Что такое любовь? Минутное наслаждение, а после усталость и пустота...
- Любовь не приносит усталость. Любовь дает силу.
- Вы не правы. Любовь не может быть равноправной, это всегда – борьба. А разве неравноправие может дать силы? Впрочем, Будда не запрещает любить. Будда вообще ничего не запрещает. Будда лишь советует...
- К монаху подошел бритоголовый служка и сказал:
- Святой отец, через десять минут у вас проповедь...
- Здесь есть монастырь? – спросил Степанов.
- Нет. Я буду выступать с проповедью по радио. Здесь в пещерах радиостанция.
- О чем будет проповедь?
- Об основной догме нашей веры – взаимоотношение силы и гуманизма.
- Степанов закурил и сказал:
- Насколько я знаю, ваша главная догма – гуманизм и сила. Или от перемены мест сумма не меняется?
- Ка Кху отхлебнул остывшего чая, нахмурился и ответил – совсем тихо:
- Вы правы. Классический буддизм древности ставил на первое место гуманизм, а уже после силу, которая необходима каждому, чтобы стать гуманным. Не наша вина, что нам приходится звать народ поначалу к силе, а не к гуманизму. Мы должны быть сильными, чтобы победить, а уж после наступит эта гуманизма – так учим мы сейчас. Нас заставляют бомбежки учить азиатов догме силы. Америка забыла, что нас – половина мира. Это очень страшно, когда половина мира начинает исповедовать догму силы, отводя на второй план догму гуманизма. Но как же быть иначе, – спросил он скорбно, – когда убивают детей и разрушают больницы?

00.31

- Почему ты не пьешь? – спросила Сара.
- У меня скоро новый вылет.
- Когда?
- Через четыре часа.
- Разве нельзя его отменить?
- Можно. Наверное, можно.
- Ну так что ж?
- Я не хочу его отменять.
- Почему?
- Так.
- Что с тобой случилось, Эд?
- А что случилось с тобой, Сара?
- Может быть, правильнее спросить: что случилось с нами?
- Может быть.
- Он вспомнил, как назавтра, после разговора с редактором своей газеты, он поехал к Тому Маффи. Тот прочитал рукопись при Стюарте. Эд сидел на краешке стула: он всегда неловко себя чувствовал, когда при нем читали его вещь.
- Ну что ж, – сказал Маффи. – Занятно, интересно и – главное – во многом справедливо.
- Он сидел мгновение задумавшись, потом быстро закурил, забросил ногу на ногу и неожиданно спросил:
- Как вы представились мне по телефону?
- Эд собрался повторить, но Маффи, улыбнувшись, махнул рукой:

– Не надо. Вы спросили меня поначалу, читал ли я ваши книжки. Так?

– Так.

– Как это ни странно, я прочитал вашу книгу год назад, когда летел в Лос-Анджелес. Хорошая обложка, недорого стоит и завлекательно-сексуальное название. На ваше счастье, я вспомнил книгу. Книгу, а не вас. А что такое писатель, имеющий свое политическое мнение, идущее вразрез с общепринятым? Не знаете? Я объясню, – сказал Маффи и подвинул Эду телефонный аппарат. – Наберите номер и закажите себе билет на самолет, уходящий куда-нибудь через час. Только на тот рейс, где уже нет билетов. Валяйте, валяйте. Если вы просто назовете свою фамилию и на другом конце провода девочки захлопают от восторга крыльями и посадят вас к пилотам – я замолкну. Но вам откажут, Стюарт. Если бы позвонил Хемингуэй – ему бы билет дали. Писатель, Стюарт, – лишь тот, кого знают по имени, даже не читая книжек. В этом, конечно, есть великая таинственная непознанность: иной выпедит пару книжонок, но у него хорошая фамилия, которую легко запомнить, – он победил, он счастливчик. А вам придется мямлить: «Вы читали повесть “Ночь в ватерклозете”? Не помните? Ну там еще кастрируют гермафродита в Валенсии...» А вам ответят: «Не читал, до свиданья!» Можете жить с козлом, но пусть об этом напишут в газетах, пусть вас запомнят, вас и – главное – ваше имя.

– Это несерьезный разговор, – сказал Эд. – До свиданья, мистер Маффи.

– Это очень серьезный разговор, – ответил Маффи, – и не дело мужчинам обижаться друг на друга. Если вы считаете, что я вас оскорбил, попробуйте набить мне морду.

– Мой шеф советовал мне получить Нобелевскую премию, я уже слышал советы, подобные вашим: жить с козлом или получить премию – все это рядом.

– Ну так я вам скажу, почему вас не напечатал толстый в своем официозе, Стюарт. Ваш шеф – смелый человек, и он умеет драться – это я вам говорю. Он не напечатал вас потому, что он мудрее вас. Из литературы вы полезли в политику. Литература – это безответственные эмоции, а политика – это наука, равная математике. Вы предлагаете низвергнуть устоявшуюся систему, Стюарт. Во-первых, кто ее будет ломать? Вы?

– Почему я? И почему ломать?

– Потому что я умею читать и думать – вот почему! И не врите себе и мне, – это детство. Все люди понимают, когда их обманывают, но стесняются об этом сказать в глаза обманщику. Я – исключение. Ладно. Поломали систему. А что будем строить вместо? У вас есть программа созидания? Нет ее у вас. Всегда легче создавать программу разрушения, Стюарт, это в людях от детства, от нежных младенческих игр, когда куклам отрывают головы, а велосипеды кидают под поезд. Устоявшееся настоящее лучше неизвестного будущего. Впрочем, если вы приехали из Хельсинки с программой Маркса, то я, конечно, напрасно мечу перед вами бисер. В этом случае нам надо не разговаривать, а стрелять друг в друга.

Эд тогда начал метаться: нет груза тяжелее, чем груз неопубликованной рукописи, особенно если тебе двадцать девять и к жажде правды примешано проклятие честолубия. Деньги кончились, он жил в долг, с ужасом думая – где взять денег, чтобы расплатиться с кредиторами. Он пошел в крайне левую газету.

– Э, нет, – сказали ему там, – нет, Стюарт. У вас нет позиции: вы себя половините. Высказывая правильные вещи о положении в нашем доме, вы называете русских «кремлевскими диктаторами». Зачем? Вы справедливо ругаете и госдепартамент, который поддерживает русских фашистов из НТС, и нашу интеллигенцию, которая спокойно взирает на то, как подкармливают фашизм, но при этом обвиняете советское искусство в утилитаризме. Вы хотите стать над проблемой, Стюарт. А люди не терпят судей, они любят собеседников.

Так, в метаниях, прошло два месяца. Он не спал ночами, его раздражало все: и люди, которые шли по улицам тугой безликой массой, и жар, и даже то, как Сара гремела тарелками на кухне.

Однажды под утро она его спросила:

- Я совсем перестала быть для тебя женщиной, Эд?
- Ты сошла с ума, – только и ответил он ей.

Одолжив денег, он пригласил стенографистку, мисс Бьюти. Девочке шел девятнадцатый год, но она великолепно работала. Он попробовал передиктовать ей свои очерки, в чем-то смягчить, что-то спрятать, пожертвовать мелочами во имя главного. Он читал написанное и приходил в ярость – на туловище волка баранья шкура не влезала. Он хотел дать все прочесть Саре, но ее целыми днями не было дома: взяв Уолта, она с утра уезжала на Лонг Айленд.

- Ты мне сейчас нужна дома, – сказал он, протягивая ей рукопись.
- Да? – удивилась она. – А я как раз считала, что мое присутствие будет мешать тебе с мисс Бьюти. Ты так мил с ней, и она смотрит на тебя влюбленными глазами...
- Уж не сплю ли я с ней, по-твоему?
- А почему бы нет? Девушка очень мила, в твоём вкусе...

«Женщине, сотворенной из нашего ребра, надо всегда все объяснять, как в школе для дефективных, – сказал ему уже после, здесь, журналист Тэдди Файн. – Только художники стоят над природой и живут в мире созданных ими же образов. Подруги художников сотворены из обычного человеческого материала. Умозрительно понять разницу между собой и художником, который рядом, – удел добрых гениев. Ты гениальных женщин видел? Я – ни разу».

Теперь на маленькой сцене стоял мальчик в коротких штанишках с проймами и отбивал ногой ритм. Он ослепительно улыбался залу и пару раз подмигнул Саре: он заметил ее, хотя они с Эдом сидели в самом темном углу.

- Сейчас я вам расскажу про мою подружку, – вдруг запел он хриплым голосом, – про девочку, у которой все как у мальчиков, только у нее нет пиписки!
- Боже ты мой, – охнула Сара, – что поет этот карапуз?! Ужас какой!
- Это лилипут, – ответил Стюарт, – ему пятьдесят два года.
- Я посмотрела на него и ужаснулась за Уолта. – Она достала из кармана несколько фотографий и протянула их Эду. – Самые последние.

Он долго рассматривал фотографии сына, а потом сказал:

- Оставь их мне.
- Конечно, из-за него глупо жить вместе, – сказала Сара. – Вообще нельзя жить вместе из-за детей. А еще противней, когда говорят: «Это его жена и сын, но он не живет с ними». Через пять лет для меня все будет кончено, Эд. Через пять лет мне будет сорок.
- Как ты сюда приехала? – усмехнулся он. – Я даже забыл об этом спросить...
- Я нанялась к этим сумасшедшим старухам журналисткам.
- Зачем?
- Я приехала за тобой, Эд. Ты прилетел сюда добровольно, ты имеешь право добровольно уехать – в любое время.
- А что дальше? То же, что было?

Он вспомнил, как на следующий день после этого глупого скандала, когда она приревновала к нему Бьюти, он разъярился и ушел с утра из дому, но не в редакцию, а к своим друзьям по колледжу.

- Хочется пить, – сказал он.

Глупая ревность рождает глупую измену. Он с содроганием вспоминал тощую рыжую бабу, с которой он тогда спал. Он вернулся домой под утро и долго мылся в ванной, а наутро сказал Саре:

- Я достал денег. Едем на форель, а? Поедем, малыш...

Они уехали на форель, но в машине поссорились – из-за пустяков, из-за сущей ерунды. Ему бы промолчать, а он боялся триппера или еще чего-то после той бабы и не знал, что ему

делать, когда наступит ночь и надо будет влезать в маленькую палатку возле реки. Поэтому он раздраженно ответил ей. И она тогда сказала:

– Мы жили, и все было хорошо, пока у нас была постель! Да, да! А теперь этого нет, и все летит к черту! И нечего врать друг другу, люди без этого не могут! Нормальные люди, а не психи! Ты шатаешься целыми днями черт знает где, а я живу как соломенная вдова! Ты существуешь только самим собой и только для себя! А тот, кто живет для себя, всегда прикрывается высокими идеалами!

00.35

Монах Ка Кху привел Степанова на радио. Они спустились в глубокую пещеру. Здесь был «вестибюль» радиоаппаратной. На табуретке сидела шоколадная женщина – Кемлонг. Она поклонилась монаху, встав с табуретки, и подошла к Степанову. Их познакомил неделю тому назад редактор газеты Патет Лао. Кемлонг была красива – поразительной, странной красотой. А ее нежная застенчивость – и то, как она прикрывала лицо рукой, и то, как, смеясь, отворачивалась, и то, как она внезапно краснела, замечая на себе взгляд, – все это делало ее беззащитной, а потому еще более прекрасной. Наверное, она и не знала, что только слабость делает женщину всесильной. Это, видимо, жило в ней само по себе. В каждой женщине есть свой дар. Это словно счастье: если есть – так есть, и уж нет – так нет...

– Здравствуйте, Кемлонг, – сказал Степанов, пожимая ее тонкую руку.

– Здравствуйте. Как вы поживаете?

– Спасибо. Хорошо.

– Как вы доехали? Не очень устали в дороге? – Она задавала ему обычные здесь вопросы: они входили в состав простого слова «здравствуй». Если не задать всех этих обязательных вопросов, можно подумать, что человек обижен на тебя или совсем не рад встрече.

– А вы еще больше похорошели, Кемлонг. Улыбнувшись ослепительно и белозубо, она закрыла лицо рукой и тихонько засмеялась.

– Давно здесь?

– Нет. Я пришла сюда утром.

– Откуда?

– Из Самныя.

– Это же сто километров, – сказал Степанов. – Пешком?

– Пешком, – снова улыбнулась она. – Я люблю ходить по горам одна.

– А диверсанты?

– Так я ж маленькая, они меня не заметят. А потом, я бегая быстро.

– Сегодня выступление?

– Да. Поем, – ответила она. – Хотите, посмотрим наше радио?

Степанов видел много радиостанций: холод плафонов дневного света, тяжесть звуко-непропускаемых дверей, мощность хромированной аппаратуры, таинственное перемигиванье красных и синих ламп на пультах громкости... Эта радиостанция в пещере была иной – вместо дверей здесь висели тяжелые одеяла, видимо домотканые, аппаратура была старой и примитивной, а свет на нее падал от нескольких керосиновых ламп, поставленных под потолком в ряд на длинной полке.

– Тс-с, – шепнула Кемлонг, приложив палец к губам, – здесь диктор.

Степанов заглянул через ее плечо: возле маленького микрофона сидел босой человек в ватнике и читал военную сводку, помогая себе жестами левой руки. Когда он перечислял количество оружия, взятого как трофеев, голос его ликующе поднимался. Закончив последние известия, он обернулся, выключил микрофон и спросил:

– Ты готова?

– Да, – ответила Кемлонг.

– Пригласи оркестр.

Кемлонг вернулась с оркестром, и диктор, включив микрофон, сказал веселым, несколько даже игривым голосом:

– А теперь слушайте новые песни в исполнении нашей Кемлонг!

Первым громко заиграл гитарист, его точный ритм подхватил аккордеон, а трубач отвернулся в сторону, чтобы не заглушать своих товарищей серебряной пронзительностью звуков, которые он извлекал из маленькой помятой трубы.

Пританцовывая, полузакрыв глаза, Кемлонг запела «Чампу».

«Джаз – музыка толстых? – подумал Степанов, слушая ее песню. – Накладка с этим делом вышла, по-моему».

Музыкантам было холодно, потому что пещера была глубокой, чтобы сюда не доходили помехи во время бомбежек, а курточки на джазистах были хлопчатобумажные, легкие. Они поэтому особенно яростно притопывали ногами и быстро передвигались, сменяя друг друга у микрофона. Но, видимо, постепенно ритм песни захватил их, и они забыли про холод; только аккордеонист, вконец простуженный, то и дело шмыгал носом и покашливал, опустив голову к перламутровой деке.

– О чампа, мой цветок, – пела Кемлонг, закрыв глаза и откинув голову, – какое счастье близко видеть тебя и чувствовать твоё цветенье и бояться, что скоро все это кончится...

– А теперь, – сказал диктор, озорно посмотрев на Степанова, – Кемлонг исполнит песню лам-вонг в честь нашего друга.

Кемлонг запела:

Вокруг тебя ночь, но жди!
Пусть грусть, пусть один, но жди!
Пусть ночью идут дожди,
Пусть утром туман, туман,
Ты – жди...

Она стала приплясывать, меняя ритм, приглашая и Степанова танцевать вместе с ней. Лицо ее было сейчас неулыбчивым, строгим, громадноглазым.

Пусть дожди, пусть туман,
Но ты...
жди...
Жди...
жди...

Потом к микрофону подошел монах Ка Кху. Степанов и Кемлонг вышли из пещеры. Млечный Путь запрокинул свои руки, словно в плаче по этой скорбной земле. Ночь была безмолвной и холодной. Черные скалы вокруг были особенно рельефны и близки из-за алюминиевого надменного света луны.

– Здесь есть такие пещеры, – сказала Кемлонг, – в которых песни звучат по-разному.

– Покажете?

– Пошли.

Она взяла его за руку и повела через лощину по едва заметной тропинке к тому месту, где шумел ручей. В густой темноте плавали зеленые точки светлячков. Вход в пещеру был низеньким – Степанов ударился лбом, и Кемлонг испуганно спросила его:

– Больно?

– Очень, – ответил он.

– До крови?

– Сейчас упаду, – сказал Степанов и застонал.

Кемлонг взяла его голову обеими руками, приблизила к себе и сказала:

– Ничего нет.

Степанов засмеялся:

– Я пошутил.

Кемлонг погладила пальцами то место, которым он ударился, и сказала:

– Сейчас все пройдет.

– Уже.

– Что? – не поняла она.

– Прошло.

– Ну, пошли.

И они шагнули в гулкую крошечную темноту.

– У вас нет фонарика? – спросила Кемлонг.

– Есть. Зачем?

– Просто так. Вы станьте здесь, а я отойду вот туда.

– Куда?

– Здесь есть уступ.

– Вы как кошка – видите в темноте?

– А разве кошки видят в темноте?

– Еще как.

Кемлонг усмехнулась:

– Не зря, значит, женщин считают кошками.

Она запела, и голос ее сейчас был совсем иным – низким и гулким.

– Теперь пойдем дальше, – сказала она, – в следующей пещере будет иначе.

– Я ничего не вижу, Кемлонг.

– Я тоже, – улыбнулась она.

Степанов слышал ее шаги, а потом почувствовал ее рядом с собой – близко-близко.

– Когда война, – шепотом сказала она, – очень хочется любить кого-то, кто сильнее.

Степанов чувствовал, что она хочет, чтобы он обнял ее. Это всегда чувствуешь.

Она вздохнула и сказала:

– Пошли в следующую пещеру. Я ее зову веселой.

Кемлонг снова взяла его за руку и повела за собой.

– Здесь опустите голову. Сейчас повернем налево. Вот здесь. Стойте.

Она отошла от Степанова, и он услышал иной голос, повторявшийся разнозвучающим

эхом:

Какая же она, любовь?

Огромная, как облако, или маленькая,
как опавший лист?

Кто видел ее – глаза в глаза?

Никто, никто, никто...

А счастье какое? Светлое, как утро,
или пронзительное,

Как одинокие сумерки?

Кто ответит мне?

Эхо, мое эхо, только эхо...

– Мы с тобой люди разных скоростей, Сара. Каждому человеку сообщена своя скорость. Так вот, наши скорости, как выяснилось, не совпали.

– Пойдем танцевать, Эд. Бог с ними, со скоростями.

– Я не хочу танцевать.

– Я прошу тебя, Эд... Я тебя очень прошу...

– Я не буду танцевать, – повторил он и сразу же подумал: «Зачем я говорю с ней так? Ведь она – единственный человек на земле, который меня любит. Она знала меня вывернутым наизнанку и все равно любит меня. Она знала про всех моих баб и все равно любила меня. У меня у самого комплекс неудовлетворенности – при чем здесь она?»

– Ну, представь себе, что я вернулся, Сара. Что будет?

Она ответила:

– Не знаю.

– Хорошо, ты не знаешь... Тебе легко ничего не знать. Ты всегда пряталась за мою спину: «Эд все знает, он что-нибудь придумает!» А как быть с Уолтом? Как быть с нашим мальчиком?

– Что – мальчик?! При чем здесь мальчик? Не прячься за Уолта. Поживет с отчимом – в конце концов.

– Это запрещенный прием.

– Почему? Ты можешь делать мне больно, а когда я говорю правду – это запрещенный прием?

– Сара, я живу на этом свете только для того, чтобы могли жить вы.

– Ты врешь. И самое отвратительное, что ты сам веришь в эту ложь! Мы здесь ни при чем: ни Уолт, ни я. Ты же все время ищешь! Себя, свою литературу, правду, ложь! А главное – ты ищешь ту, которая тебе нужна, которая вернет вдохновение, съеденное твоим безденежьем и моими скандалами. Ты же сам сказал мне, что у каждого мужчины есть своя женщина-мечта. Вот ты и ищешь эту мечту, а из-за того, что их нет на свете, этих женщин, ты мечешься, а я схожу с ума и старею, разрываясь между собой, Уолтом и тобою. Это так жестоко и нечестно, Эд. Я ни о чем тебя не прошу. Я хочу правды. Понимаешь? Правды и определенности. Я же обыкновенный человек, Эд... Я не могу как ты... Я хочу обыкновенного маленького счастья, а оно всегда маленькое – это настоящее счастье. Большим бывает только горе.

Когда ему стало совсем плохо, он поехал к знаменитому писателю. Он так запутался в простых сложностях этого мира, что решил поехать к тому знаменитому писателю, который жил безвыездно у себя на ферме: издатели сами приезжали к нему по первому же вызову.

– Научитесь смотреть вокруг себя, как биолог, препарирующий лягушку, – говорил тот, расхаживая по громадному холлу, отделанному мореным дубом, вывезенным из старинного британского замка. – И не лезьте на стенку. Не ищите ничего в сфере чувствований. Мир определяют формы собственности. Я сделал обрезание этой мудрой марксистской догме. Мы отменили рабство, это было непопулярным по форме, но суть рабства царствует в мире: из каждых двух один мечтает быть собственником другого. Это повсеместное явление: в любви, стоматологии, ядерной физике, сельском хозяйстве. Это справедливо. Стюарт, это справедливо, как ни грустно мне это говорить. Иначе и не может быть, потому что тогда начнется хаос. Что будет с деревьями, если они перестанут принадлежать земле? Или с вашими руками, если они перестанут принадлежать туловищу? Наша демократия – это хаос, но при этом же – преддверие научно продуманного, демократичного по форме рабства. Мы все на грани рабства, Стюарт. Нам говорят, что мы свободны, и нам лгут, но если нам скажут правду, если нам скажут, что мы – рабы, – о, вы поглядите, какая тогда начнется потасовка!

Эд слушал писателя и чувствовал острую ненависть к этому человеку в красной дырявой нелепой кацавейке, который расхаживал по своему громадному барскому холлу и, потешаясь, говорил о том, что терзало мозг и сердце Стюарта.

– А что же делать? – спросил Эд.

Писатель долго смеялся.

– Откуда я знаю, – ответил он, по-прежнему смеясь. – Я не знаю, что надо делать. Все равно вы ничего не поделаете с безумием этого мира. Лучше смотри-те на это безумие со стороны и помните: нет на свете ничего страшнее, как неудачники-правдолюбцы. Они всегда торопят процесс, а исход один – кровь. Так лучше пусть это будет после нас, а?

Прилетев в Нью-Йорк, Эд бесцельно бродил по городу, путаясь в темных коридорах улиц. Потом он зашел в клуб, где собиралась богема. Раньше он находил здесь успокоение, ему было спокойнее, потому что люди, собиравшиеся здесь, говорили так же, как он писал. Он тогда пил с ними вместе и говорил, никого не слушая, а когда говорили другие, он готовился к ответу и совсем не слушал, что они говорили.

А сейчас он сидел в углу молча и не пил, а просто пытался впервые в жизни понять – о чем же говорят те, кого он считал своими, кого он считал больной совестью страны. Они сейчас, как и всегда, бушевали и спорили, и каждый из них – Эд увидел это очень рельефно, будто при вспышке фотоблица – говорил лишь для себя, о себе и про свое.

«Это же все бездари, – думал он тогда, – и к тому же лентяи. Им надо сидеть за письменным столом, а не за ресторанным. Они импотенты, они ничего не могут. Они могут только хулить, но чтоб создать – нет...»

Он поехал к Маффи.

– Я на лопатках, – сказал он тогда. – Пошлите меня куда-нибудь к чертовой матери, я сделаю для вас то, что вам нужно.

– Я подумаю, – ответил Маффи очень серьезно, – спасибо за предложение.

Назавтра он разыскал Эда, пригласил его к себе и сказал:

– В пустыне есть сказочный шейх. Как вы относитесь к сказкам? Я надеюсь – хорошо? Так вот этот шейх проводит ряд интересных комбинаций в своем княжестве: он занятен как личность. Он – хозяин нефти. Естественно, им интересуется и Насер, и русские, и евреи, потому что этот шейх верен нам: у него наши базы и наши советники. В вас, видимо, аккумулировалось много злости. Поезжайте туда и, если шейх вам покажется таким же занятым, каким он кажется «Стандарт ойл», – поддержите его и дайте по зубам тем, кто хочет ему мешать.

Эд знал, что газета Маффи связана со «Стандарт ойл». После года метаний он испытал огромное облегчение, получив задание от другого человека. Он больше не мог жить как раньше: сердце говорило одно, мозг – другое. Руки поэтому не работали. И он полетел на Восток.

00.57

Кемлонг вела Степанова по узенькой дорожке в горы.

– Здесь недолго, – сказала она, – совсем рядышком, на вершине.

– Фонарик можно включить?

– Не надо. Я все вижу.

– А я ничего не вижу.

– Вы идите за мной – шаг в шаг.

– Я так и иду. А где он живет?

– В хижине.

– А бомбежки?

– Он вырыл бомбоубежище. Правда, оно плохое. Оно же не в скалах...

– Почему ему не спуститься в долину? Там можно жить в скалах, это безопасней.

– Он не может оставить дерево «табу».

Они вышли из леса. Тропинка казалась покрытой льдом: так холодный свет луны отражался в маленьких лужицах, оставшихся после недавнего дождя. Эта ледяная, в алюминиевых

бликах тропинка вела к одинокому громадному дереву. Ветви его были без листьев, ствол разбит молнией, но дерево казалось могучим и грозным. Черный, четкий рельеф его впечатывался в звездное безмолвие. Звезды здесь были очень яркие, и поэтому небо казалось голубоватым из-за ярко-зеленого перемаргивания далеких светил.

Кемлонг подвела Степанова к маленькой хижине и негромко позвала:

– Бун Ми!

Никто не отвечал.

– Бун Ми! – повторила Кемлонг.

Снова никто не ответил.

Она поднялась по маленькой лесенке в хижину.

– Кто?! – услышал Степанов гортанный, страшный, похожий на карканье голос.

– Это я, – ответила Кемлонг.

– Кто?! – еще более сердито прокричал кто-то невидимый каркающим голосом.

Кемлонг тихонько засмеялась и стала что-то шептать; Степанов не мог разобрать слов, которые она говорила, но по интонации можно было понять – она шептала что-то очень ласковое и нежное: так говорят с грудными младенцами.

– Зачем?! – прокаркал злой голос.

– Кемлонг, – позвал девушку Степанов, – мне можно туда?

– Сейчас, – ответила она и вышла из хижины. В руках у нее был большой попугай. – Старика нет, – сказала она, – это говорит его птица.

– А где старик?

– Может быть, спустился вниз, за патронами и солью. Вчера на машине привезли товары.

Степанов пошел к дереву «табу».

– Нельзя! – прокричал попугай.

– Не надо, – попросила Кемлонг.

– Почему? Ты веришь, что оно действительно «табу»?

– Я не знаю, – Кемлонг пожала плечами. – Так здесь все говорят.

– Что будет, если я подойду к дереву «табу»? – улыбнувшись, спросил Степанов.

– Старики говорят, что этого нельзя делать: будет горе.

– Прямо сразу, на месте?

– Да. Говорят, что каждый, тронувший это дерево, испепелится.

Степанов пошел к дереву. Его ветви казались руками, открытыми для объятий.

– Нельзя! – снова прокричал попугай, но Степанов уже был возле дерева. Он тронул кору. Она была теплой.

– Хватит, – услышал он голос у себя за спиной.

Он обернулся: Кемлонг стояла рядом, закрыв попугая глаза.

– Зачем ты подошла? Ты же боишься.

– Я боюсь, когда одна.

– А со мной не страшно?

– Нет. Страшно ведь только первым.

– Верно, – согласился Степанов.

– Только вы никому не говорите про то, что трогали «табу».

– Ладно.

– Пошли к хижине.

– Пошли.

– Этот попугай умеет гадать.

– Ну?

– Да. Возьмите какую-нибудь палочку и нарисуйте череп и цветок. Вот здесь, тут хорошая земля.

– Зачем?

– Птица ответит, что вас ждет.

Степанов послушно нарисовал щепочкой на холодной земле, влажной от росы, череп и цветок. Кемлонг опустила попугая на землю и, став перед ним на колени, шепнула:

– Что его ждет, птица? Ну, покажи!

Попугай прокричал что-то пронзительное и долго щелкал клювом – будто подавился. Потом он поджал левую лапу и ткнул своим клювом в цветок, нарисованный Степановым.

– Вас ждет долгая жизнь, – сказала Кемлонг, – видите, он указал на цветение.

– А если б указал на череп?

– О, это очень плохо, – сказала Кемлонг. – Хотя, – она тихо засмеялась, – я бы соврала вам: я бы сказала, что череп по нашим обычаям означает долгую-долгую жизнь, а цветок – это символ прощания и смерти.

– Спроси попугая про любовь...

– Я могу ответить сама.

– Ты знаешь, что такое любовь?

– Конечно.

– Так что же такое любовь?

Кемлонг ответила:

– Любовь – это любовь.

Когда они спустились по тропинке, она сказала:

– Сейчас очень важный год.

– Почему?

– Он двенадцатый. Это год Солнца. Он будет или очень хорошим, или страшным и плохим. Наши старики считают, что в дне двенадцать часов, в году двенадцать месяцев, в цикле двенадцать лет.

– В каком цикле?

– А я не знаю. Они говорят, что сейчас – год цикла, год Солнца. В этом году все звезды зеленые, видите? – она посмотрела на небо, остановившись. – А в остальные годы звезды синие и кажутся маленькими. А во-он та звезда – моя. Я родилась под ней и всегда смотрю на нее перед тем, как лечь спать. Здесь идите осторожней – по жердочке: тут болото.

– Где?

– Давайте руку.

Она повернулась к нему и сказала:

– У вас в глазах отражается моя звезда.

Второй раз Степанов встретился с Эдом в пустыне, километрах в ста от Басры. Там, среди барханов, стоял стеклянный дом странной конструкции. Сюда антрепренер привез немецких танцовщиц, и каждую ночь наряд автоматчиков сдерживал толпу, стекавшуюся на эти танцевальные представления. Возле здания стояли машины. Там стояли самые роскошные машины: «крайслеры», «рольс-ройсы», реже – бело-красные «импалы» и совсем редко голубые «форды». Поодаль, возле двух пальм, стояли верблюды, охраняемые вооруженными людьми в белых одеждах, – это приезжали богатые кочевники, вожди племен.

Именно здесь шейх – владелец крупнейших нефтяных скважин – назначил встречу американскому, русскому и цейлонскому журналистам. Цейлонец заболел и на встречу не приехал. Поэтому за маленьким столиком, в ложе, нависшей прямо над стеклянной сценой, где танцевали немки, шейх, одетый в традиционный белый бурнус, беседовал с Эдом и Степановым. Он был еще совсем молодым человеком, видимо, очень кокетливым: отвечая на вопросы, он то и дело поглядывал на свое отражение в огромном – во всю стену – зеркале. Говорил он, путая английские, французские и арабские слова. Внизу толстенная немочка с добродетелью

тельным лицом Маргариты исполняла танец живота. Кочевники, которых впускали за огромные деньги вниз, на кресла вокруг сцены, сверлили огненными глазами пухлый живот немки, цокали языками и громко аплодировали, когда танцовщица делала мостик.

– О какой свободе вы говорите? – разглагольствовал шейх. – Посмотрите на мой народ. Они приезжают сюда, за границу, смотреть танец живота, но попробовал бы я разрешить этот танец у нас дома – они бы меня растерзали! Это ж безнравственно – дома! И так упоительно – за границей! Народ темен и полон предрассудков – и этому народу сейчас дать полную свободу? Свобода, дарованная народу, не готовому к свободе, оборачивается кровью.

– Может быть, – спросил Степанов, – народ стоило бы готовить к свободе?

– Посоветуйте, как это делать? – улыбнулся шейх с грустной снисходительностью. – Дать сейчас свободу моему народу – значит отбросить его назад на десятилетия. Свободой воспользуются честолюбивые реакционеры, для которых все зло мира сконцентрировано в стриптизе, ночных барах, где появляются женщины с открытым лицом, и в мужчинах, которые носят европейские костюмы и бреют бороду. Пусть уж лучше меня называют махровым реакционером: я взял на себя тяжкое бремя привести народ к демократии через эволюцию, – шейх снова взглянул на себя в зеркало, – и пусть эту эволюцию охраняет тайная полиция. Ничего, мне это простится в будущем.

Шейх уехал, а Степанов и Эд спустились вниз, в зал.

– Как вам понравился шейх? – спросил Степанов.

– Он интересно думает.

– По-вашему, он думает? Очень люблю думающих людей. На этой земле вообще, по-моему, перестают думать: чем больше люди научились делать, тем они меньше стали думать.

Эд записал слова Степанова в книжечку и заметил:

– Он верно сказал: «Мои люди больше всего ненавидят то, что любят в глубине души».

– Когда монарху нечего сказать – он сыплет афоризмами и цитатами.

– Вы предвзято к нему относитесь. Он ищущий человек.

– Что он ищет? – поморщился Степанов. – Бросьте вы, Эд. Как только он начнет искать, его сразу же спросят: «Почему вы берете себе, ваше величество, восемьдесят три процента прибыли от нефти, а государству оставляете семнадцать?» Что он тогда ответит, хотел бы я знать? Вы были в его княжестве?

– Я туда еду.

– Ну так посмотрите вокруг себя повнимательнее: он не разрешил ввезти партию транзисторных приемников, он боится информации, а информации боятся только тираны. Если раньше уровень национальной культуры определялся количеством потребляемого мыла, то сейчас этот уровень определяется количеством радиоприемников, находящихся в пользовании у народа, и ценой на них в магазинах. Он покупает у вас только ковбойские фильмы, а Крамера, Феллини и Эйзенштейна он запрещает к прокату. Он посадил в тюрьмы двадцать молодых парней за то, что они обратились к нему с просьбой дать им иностранные паспорта: они хотели поехать учиться в институт Лумумбы.

– Вы надели на глаза шоры, – сказал Эд, – шейх против вас, поэтому вы не хотите видеть в нем ничего хорошего.

– Бросьте, Эд, – поморщился Степанов, – если вы работаете на людей, которым выгоден этот парень в бурнусе, со мной-то зачем так? Мы ж с вами коллеги, у нас может быть свое мнение о происходящем. Пишите что хотите, это ваше личное дело, но зачем прислуживаться в разговоре со мной?

Эд сказал:

– Что это у вас за интонация евангелического пастора? Слушать проповеди можно и дома, для этого существует жена!

Степанов перебил его:

– Как Сара?

Стюарт досадливо махнул рукой и подумал: «Русский прав. Я ничего не смогу написать, если не заставлю себя поверить в истинность того, о чем я пишу. Он верно сказал – зачем сейчас-то прислуживать? Впрочем, с большим наслаждением я бы поступил наоборот: я бы в очерках ругал этого кретина с чалмой, а в разговоре хвалил – писателя судят по словам написанным, а не произнесенным».

– Возьмем танцорку? – предложил он и поманил немочку, сидевшую неподалеку: после своего номера она пила кофе. – Меня возбуждает доступность, – пояснил он. – Вас – нет?

Немочка улыбнулась и под села к их столику.

– Давно здесь, козочка? – спросил Эд.

– У меня контракт на год.

– Хорошо платят?

– Хорошо...

– А эти? – Эд кивнул головой на богатых кочевников, сидевших возле сцены.

Немочка сделала большие глаза, покачала головой и приложила палец к губам.

– Зачем вам это? – спросил Стюарт.

– Мой жених – шофер в Гамбурге. Я скоро вернусь, и мы поженимся. Мы не могли раньше пожениться: плодить нищих? Когда я вернусь, мы сможем обеспечить нашу семью.

Тогда Стюарт в первый раз – именно Степанову – сказал фразу, ставшую после его заклинанием:

– На предательство человека толкает не любовь, а обременительное последствие любви – то есть семья...

Он написал в газету Маффи цикл великолепных очерков, в которых он поднял шейха – «человек интересно строит свободу методом жесткого курса». Он писал о парадоксе: диктатура во имя будущей демократии. Через два дня после того как Маффи кончил печатать его очерки, «Стандарт ойл» удвоило субсидии шейху, а через неделю шейха свалили: молодые офицеры расстреляли его во дворце и провозгласили республику.

– Служить – это не значит врать, – сказал тогда Маффи, – мне вы обязаны были сказать всю правду. Апологеты нужны кретинам, которые боятся мыслить и принимать быстрые решения.

Эд снова метнулся в левые газеты, но там его предложений не приняли: у всех был в памяти скандал с «демократическим» шейхом. Тогда Стюарт плюнул на все и пошел работать в рекламу, на телевидение.

01.12

– Так что же будем делать, Эд, – спросила Сара, и на глаза ее навернулись слезы.

– Ты много пьешь.

– Ну и что? Что еще мне остается делать?

Она заплакала.

– Сейчас будет истерика?

Сара вытерла слезы, но подбородок ее по-прежнему дрожал.

– Истерики не будет, милый...

– А что же будет? – спросил он, и огромная грустная нежность вдруг сжала его сердце, когда он посмотрел на нее, – так прекрасно было ее лицо.

Она ответила:

– Будет развод.

Он положил руку на ее холодную длинную ладонь.

– Только ты напишешь просьбу о разводе сейчас, немедленно, – сказала она, – вот хотя бы на этой салфетке.

– Ты вправду этого хочешь?

– А ты?

– А если я не напишу? У нас снова будет все как было?

– Не я в этом виновата, Эд. Тебе нужна другая женщина – сильная, талантливая, жестокая, – она снова заплакала, – она принесет тебе счастье своей нелюбовью. А я своей любовью приношу тебе только горе...

После года работы на телевидении он выпустил несколько лихих передач. Какой-то критик, запомнивший его первую книжку, написал коротенькую рецензию: «Талантливое самопредательство». Эд несколько раз прочитал рецензию, и все в нем заглохло от сладостной, горькой обиды.

«Вспомнили, сволочи, – думал он. – Когда я погиб, тогда обо мне вспомнили. Тогда я стал нужен и стали жалеть мой загубленный талант! Раньше, когда я мучился, я никому не был нужен, а когда начал просто жить, просто ездить на красивой машине в свой просто красивый дом, – я им понадобился!» Саре он сказал:

– Все равно меня бы здесь не поняли: я слишком сложно писал. Мне бы родиться чехом или голландцем: маленькие нации любят сложную литературу с непонятностями.

– А когда ты сядешь за роман? – спросила Сара.

Он взорвался:

– Когда ты получишь в наследство от доброго дяди миллион! Или когда я найду в лифте портфель с золотом!

– У тебя же есть сейчас деньги...

– Что значит – «у тебя»?! Мне не нужны деньги: я могу уехать на Аляску! Деньги нужны семье! Нам! Тебе!

– Это же бессовестно – так попрекать меня...

Он сел за роман. Он писал уже не о зле и добре, не о лжи и правде, не об уме и тупости – о чем ему раньше мечталось. Он начал писать о женщинах, чужих женщинах, которые устраиваются на твоей груди, словно на принадлежащей им подушке, о пьяных, радостно-тревожных рассветах, когда мучительно вспоминаешь прожитую ночь и безразлично, устало смотришь на незнакомые мокрые крыши; он начал было выворачивать прожитые годы, как перчатку, но – не смог. Он чувствовал, как на страницы ложится аккуратная полуправда. Он говорил себе, что он боится обидеть Сару, поэтому вещь не идет, но в глубине души он понимал, что он себе врет. Он боялся не Сары, нет, он – просто боялся. «Жизненный опыт – это опыт разумного страха, – сказал тогда он себе, – это точно». В нем поселился второй Эд Стюарт, который тщательно взвешивал, анализировал и отвергал еще в замысле то, что предлагал первый Эд Стюарт.

«Все, – сказал он, – хватит. Надо уметь вовремя выскочить из тележки».

Он прошел летнюю переподготовку, застраховал себя на сто тысяч и поехал во Вьетнам. Но из тележки он уже полтора года никак не мог выскочить: то ли он привык жить, то ли боялся смерти.

Эд взял салфетку, разгладил ее и написал прошение о разводе, у него был мягкий японский фломастер, он не рвал тонкую бумагу.

Сара прочитала написанное и улыбнулась:

– Подумают, что на пипифаксе.

– Тебя отвезти?

– Куда?

– Ты где остановилась?

– В твоём доме мне места не найдется на эту ночь?

– Зачем?
– Тогда не надо меня отвозить. Не надо, милый. Я побуду здесь.
– Как ты доберешься потом?
Она постаралась улыбнуться:
– Как-нибудь. Не беспокойся, Эд.
– Прощай, Сара.
– Можно проще, милый. Ты всегда любил театральность. Можно ведь проще: до свиданья. Нет?
– В общем – да.
– Ты придешь меня проводить?
– Когда ты улетаешь?
– Часть наших улетаёт сегодня ночью...
– Ты с ними?
– Наверное – да.
– Аэродром ты найдешь?
– Найду. Только мне надо ещё будет заехать в отель.
– Оставить тебе машину?
– Не надо, милый. Иди. Тебе надо отдохнуть, ты плохо выглядишь. Спокойной тебе ночи. Я доберусь сама, это близко.

Он поднялся и пошел к двери. Больше всего на свете он хотел уйти от нее к той мечте, которой не было. И больше всего он страшился того, что когда-нибудь действительно сможет от нее уйти.

Сара проводила его глазами и написала на той салфетке, где было его прошение о разводе: «Он убил меня под Луанг-Прабангом».

01.26

Эд медленно ехал по темным улицам: отель, в котором он жил, был расположен в пригороде, здесь ложились спать рано, с появлением луны. Опавшие листья шершаво гонялись друг за другом по асфальту. Эд свернул в переулок, слабо освещенный фонарями. Он увидел, как по тротуару старик бегал за собакой. Пес был маленький, дворовый. Он отбегал от старика метров на десять и останавливался. Подпускал старика на шаг и снова отбегал. Эд притормозил, потому что пес выбежал на дорогу и, ослепленный светом фар, остановился, потом завизжал маленьким обрубленным хвостом. Старик упал на пса, задыхаясь. Эд близко увидел его потное лицо с пергаментными висками. Он лежал, тяжело дыша, виновато улыбаясь Эду. Поднявшись на колени, он достал из кармана веревку, обвязал пса за шею и, резко дернув, взбросил себе на спину. Пес завизжал, вытягивая лапы.

– Он задохнется, – крикнул Эд. – Ты задушишь собаку.

Старик, утерев с лица пот, ответил:

– Я и хочу его задушить – я несу его в ресторан.

Эд выскочил из машины и сказал:

– Пусти веревку!

– Это моя собака, – заплакал старик, – я ловил ее весь вечер!

Эд вырвал у него из рук веревку, освободил пса и опустил его на землю. Пес, по-прежнему скуля, понесся по тротуару.

– Зачем вы взяли мою собаку? – тихо плакал старик. – Мне бы уплатили за нее. Я же ловил эту собаку весь вечер.

– Сколько тебе платят за собаку?

– Доллар.

Эд поискал в карманах мелочь и высыпал деньги в костлявые ладони старика. Тот поцеловал руку Эда.

– Я их тоже жалею, но у меня пять детей... Их же надо кормить...

– Ты их душишь?

– Да.

– Веревкой?

– Да, я привязываю на один конец камень и вешаю их в сарае.

– Они очень воют?

– Очень. Я сначала не мог слышать, как они воют.

– А теперь привык?

– К этому быстро привыкаешь, – засмеялся старик, – особенно когда потом платят деньги.

Потом даже делается интересно смотреть, как они извиваются и высовывают синий язык.

Эд заглянул в черные добрые глаза старика. В них искорками метался безумный смех. Эд с трудом подавил в себе желание ударить старика кулаком в переносье, так чтобы он упал на асфальт и разбил себе череп, а потом – бежать по тихой улице и орать что есть силы.

Он впрыгнул в машину, и «джип» рванулся с места, стремительно набирая скорость. Эд гнал по левой стороне и отчаянно сигналил.

Возле своего отеля он резко нажал на тормоза и сидел минуту не двигаясь, сильно зажмурив глаза. Потом устало вылез из машины и медленно пошел к себе. Он хотел принять душ, но в ванной – она была на два номера – заперся его сосед Тэдди Файн, журналист из Балтимора. Он всегда забирался в ванную комнату на час, не меньше.

– Ты скоро? – спросил Эд.

– Нет. А что?

– Ничего. Просто так.

– Хорошо слетал?

– Плохо.

– Когда возьмешь меня с собой?

– Скоро, – ответил Эд и повалился на кровать. Включил лампочку-ночник и, взяв на ощупь одну из книг, валявшихся на полу, быстро пролистал ее. «Пулэм. Эсквайр».

«Поддавок, а не книга, – подумал он. – Нельзя делать героя глупее писателя».

Эд бросил книгу на пол, потянулся и зевнул.

«Не проспать бы. Я обещал вылететь к утру за той машиной. А зачем она мне? – вдруг спросил он себя, открыв глаза. – На черта мне сдалась та машина? Я похож на этого старика: он вешает собак, а я охочусь за машинами. Мне просто хочется быть сильнее тех, кто в машине. Мне приятно чувствовать их ужас, когда они станут метаться по голой равнине. Унизив страхом тех, кто внизу, я сам себе покажусь сильным. Разве нет, Стюарт?»

Ему вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь пожалел его. Это желание пришло внезапно, и он почувствовал себя маленьким и беззащитным, вконец запутавшимся – как в детстве, когда самым страшным грехом было принести к Рождеству плохие отметки.

«Заплакать бы, – подумал он. – Легко женщинам, им стоит только открыть шлюзы – сразу польются слезы».

Он стянул с себя куртку и сбросил ботинки на черный паркетный пол. Натянул на голову подушку и шепнул:

– Спокойной ночи, родной...

Но сон не шел. Громадное, как живопись на белой стене, стояло перед ним нежное, любящее лицо Сары.

«Это ты во всем виновата, – сказал он ее лицу. – Ты, и никто больше. И в том, что я не пишу книг, которые у меня в голове, и в том, что я не могу спать с тобой, и в том, что я почти

ни с кем не могу спать – разве только с продажными шлюхами. Во всем виновата ты, Сара, а я никак не могу выбросить тебя из сердца».

Как и всякий слабый человек, Эд Стюарт искал причину своих неудач не в себе самом, но в том, кто его окружал и кто был ему ближе всех...

01.41

Сара попросила принести ей виски и выпила залпом, по-мужски. Она ненавидела эту гадость, пахнущую ячменем, но обожала то состояние, которое наступает после. Однажды она сказала Эду: «А как было бы здорово, если бы люди изобрели пилюли – безвкусные, как аспирин, и пьяные, словно виски».

В баре сейчас ничего не было слышно, хотя люди кричали: так громко ревел джаз.

«Хорошо, когда ничего не слышно из-за музыки, – подумала Сара, – тогда и саму себя не слышно. Плохо только, что к утру джаз кончит играть свою музыку и наступит полная тишина, и тогда все в тебе закричит – то, что веселилось вместе с музыкой».

– Простите, к вам можно присесть? – спросил ее высокий, рыжий, смешной парень.

– Можно, – ответила Сара. – Конечно, можно.

– Спасибо, – ответил парень, смущенно кашлянул в кулак и неловко сел на краешек стула.

Сара посмотрела на его рыжие вихры, на веснушчатый мальчишеский нос и улыбнулась и испугалась, что снова заплачет.

– Я вас тут раньше не видел, – сказал парень.

– А я только сегодня прилетела.

– Вы журналистка? – спросил парень. – Сюда прилетело целое стадо журналисток.

– Стадо? – усмехнулась Сара. – Это верно – стадо.

– Извините, если я вас обидел...

– Ну что вы, – сказала она, – вы меня совсем не обидели.

– Меня зовут Билл Смит.

Сара повторила:

– Билл Смит... Очень категорично... Сильное созвучие.

– Вы смеетесь?

– Ничуть, – ответила Сара. – Просто у меня дурацкая манера говорить вслух то, что думаю.

– Вы танцуете?

– Танцевала.

– Только не говорите, пожалуйста, «когда-то танцевала». Это из кино. Там всегда красивые усталые женщины говорят – «когда-то танцевала»...

Сара поднялась, и Билл поднялся. Он был широкоплечий, на голову выше Эда. Когда они пошли танцевать и кто-то крикнул из зала «браво, Билл», парень покраснел, и его веснушки сделались темно-коричневыми.

– Вы здорово танцуете, – сказал он.

– Да?

– Да.

– Вы тоже.

Билл держал ее за спину – очень осторожно, не прижимая к себе.

Негр, игравший на саксофоне, вываливал голубые белки, заходясь от счастья и ритма.

– Вы меня держите, как ядовитую змею, на дистанции, – сказала Сара и сразу подумала: – «Зачем я это сказала?»

Билл снова покраснел и прижал ее к себе.

– Так ничего? – спросил он.

Сара засмеялась. Негр уронил на грудь свой саксофон и поклонился. Он хорошо играл, и ему здорово свистели. Билл подвел Сару к столику и заботливо развернул ее кресло. На третьем кресле сидел парень в летной форме. Он был еще моложе Билла, но совсем уже лысый.

– Это Самни, – сказал Билл, – он тоже летает бомбить чарли.

Самни молча поклонился Саре.

– Как потанцевали? – спросил кто-то рядом.

Сара обернулась: никого не было.

«Этого мне еще не хватало, – подумала она. – Звуковые галлюцинации начинаются, глупость какая...»

– Что будете пить? – улыбаясь, спросил Билл.

– Ничего не пейте, – сказал тот же голос.

Сара снова обернулась, потом незаметно заглянула под стол: «Может быть, это карлик, который пел гадости?»

– Здесь есть хороший «перно», – сказал Билл.

– Угости даму коньяком, – сказал тот же голос, и Сара поднялась со стула, приложив пальцы к ушам.

Билл упал на стол от смеха.

– Это он, – говорил он, хохоча, – это Самни, он так умеет! Он умеет говорить, не открывая... не открывая... – хохотал он, – рта...

Сара опустила на стул и улыбнулась, растерянно посмотрев на Билла, а потом на Самни.

– Ну, пока, ребятки, – сказал тот же голос, а после Самни открыл рот и, выдохнув, произнес другим, тонким голосом, таким, каким он разговаривал обычно: – Я их здесь так веселю. Пока. Я скоро вернусь.

– Куда ты? – спросил Билл.

– На вылет.

– Далеко?

– Нет, туда же, где были вы. – Он поднялся, поклонился Саре и спросил: – Вы не рассердились?

– Я испугалась, – ответила Сара.

– Сначала все пугаются. А потом смеются. Очень смеются. Я не прощаюсь: мы вернемся через час – мы ж реактивные, а не тихоходы типа АД-6, – и он подмигнул Биллу.

Глядя вслед ему, Билл сказал:

– Славный парень. Его однажды сбили, мы его отвоевали у чарли с вертолетов, они чуть было не взяли его в плен. Так что же будете пить?

– Виски, – сказала Сара.

– Ого! – сказал он и, быстро взглянув на Сару, снова покраснел.

«Мальчик не знает, как подступиться, – подумала Сара. – Он сам этого хотел, – вдруг подумала она, увидев лицо Эда. – Он сам хотел, чтобы я спала с другим. Тогда ему было бы легче перед собой. И со мной тоже – ночью. Он сам говорил: ничто так не возбуждает, как порочность и доступность».

– Я и так пьяна, – решила она помочь Биллу и густо покраснела. – А если я выпью еще – вам придется тащить меня на себе.

– Я оттащу, – сказал Билл и начал суетливо искать глазами кельнера, – я оттащу, не беспокойтесь...

01.59

Степанов сидел на большом теплом камне и смотрел на пыльную полосу Млечного Пути. Пересекая Млечный Путь, излучая пульсирующий зеленый свет, медленно пролетел чей-то спутник.

Степанов слышал у себя за спиной плеск воды и тихий смех Кемлонг. Она провалилась в болото и сейчас, взяв у него фонарик, пошла мыться в маленьком озере. Она положила фонарик на камень, чтобы мыться не в полной темноте. Степанов чуть обернулся, доставая из кармана сигареты, и увидел в луче света Кемлонг.

– Холодно? – спросил Степанов.

– Что?

– Я спрашиваю: не холодно?

Она обернулась на его голос, доверчиво посмотрела в темноту и ответила:

– Сначала всегда бывает холодно, а после тепло.

Степанов вспомнил венгерскую художницу Еву Карпати. Она была похожа на Кемлонг такой же – через край – женственностью и при этом застенчивостью ребенка, считающего себя уродцем. Степанов испытывал чувство острой жалости к таким женщинам; он видел их в старости, и в нем все сжималось от гнева – нет ничего беспощаднее и холоднее времени. Оно ничего не жалеет; безразличие времени казалось Степанову унижительным и неразумным. «Остановись, мгновенье!» – так и осталось заклинанием поэта. Можно остановить коня или ракету, несущуюся со скоростью звука. Нельзя остановить время.

Ева Карпати водила Степанова по своему крохотному ателье и показывала картины, смущаясь того, что она ему показывала. Картины ее были прекрасны: синий, таинственный, грозный лес и девушка с голубыми глазами в нежных ладонях, или сумеречное туманное утро и лицо той же громадноглазой девушки в чердачном окне, и красные черепицы, по которым ходят белые атласные голуби.

Оттого, что она смущалась своего искусства, она писала редко, то и дело бросая кисть. Иногда она резала уже готовые холсты и не заходила к себе в ателье месяц, два, а то и полгода.

– Надо все это вообще кончать, – сказала Ева Степанову. – Хватит.

– Почему?

– Так... Скучно все это... Сейчас можно писать как угодно, но только не скучно.

– Ева, эта живопись прекрасна.

– Да ну... Я знаю, отчего ты говоришь так.

Она ушла в магазин – купить масла, чтобы сделать яичницу. Степанов сел к маленькому столу, покрытому клеенкой, измазанной краской, и написал тогда стихи – первые в жизни...

– Кемлонг, – сказал Степанов, – вылезай. Замерзнешь.

– Вода теплая, – ответила она. – У меня только макушка мерзнет.

– А почему ваших детей запрещено гладить по голове?

– Так ведь на голове у каждого ребенка – Будда. Его Будда. Можно столкнуть Будду. Кто ж тогда будет охранять ребенка?

Степанов улыбнулся: «Нет ничего прекраснее доверчивости взрослого человека. Когда во взрослом живет дитя – такому можно верить».

Вдруг где-то рядом неожиданно возник грохочущий рев: он возник из тишины. Ничего промежуточного между полной тишиной и ревом не было.

– Самолеты! – крикнул Степанов и побежал к озеру. – Кемлонг! Самолеты!

Грохот был ярко-белым. Все вокруг высветилось неживым, контрастным светом, а после землю резко трянуло, и стало темно, и эту темноту запоздало рвануло красное длинное пламя. Он увидел Кемлонг – она бежала к нему и тоже что-то кричала, а потом упала на землю рядом с ним, и тут небо снова было разорвано ревом самолета, заходившего в пике. Степанов подмял под себя Кемлонг, и снова стало светло, и он почувствовал, как мелко дрожит девушка. Громынуло еще два взрыва, и он закрыл ее голову руками, потому что боялся, что осколок разобьет ей лицо. Она, верно, тоже боялась, что его прошьет осколками, поэтому она закрыла ладо-

нями его голову. А после стало тихо-тихо, и рев самолета исчез так же резко, как и появился минуту назад...

02.17

«Все равно я без нее не смогу, – продолжал думать Эд. – Хотя именно она подвела меня к тому, что было с другими женщинами. Она виновата и в этом, потому что сказала, что ей не хватает. Как только мужчине скажут, что его мало – он погиб. Проклятый Фрейд».

Эд снова включил свет и закурил. Файн по-прежнему плескался в ванной комнате.

«Сейчас я поеду за ней, – вдруг понял он, и сразу ему стало легко, и он улыбнулся. – А завтра мы улетим, и пусть все катится к черту – вместе со страховым полисом».

Он быстро поднялся с кровати и забарабанил в дверь ванной комнаты.

– Э, Файн! Ты не утонул?

– Да. А что?

Оттого, что он решил поехать за Сарой и привезти ее сюда, ему стало так радостно, как уже давно не было.

– Вылезай и приготовь нам что-нибудь перекусить. И выпить.

– Жрать на ночь?

– Скоро утро. Я привезу даму.

Файн выглянул из ванной. Длинный, нескладный, он обвернулся в белую короткую простыню и поэтому был похож на римского диктатора.

– Кого ты собираешься притащить?

– Сару.

– Уже началось?

– Что – началось?

– Сумасшествие. При чем здесь Сара?

– Она прилетела сегодня вечером с твоими коллегами женского пола. А завтра мы улетим домой. Сейчас я ее привезу.

– Ну хорошо, – сказал Файн, – только у меня туго с едой: какие-то орешки и пара банок консервов.

– Ничего. Сделай это красиво, и я привезу чего-нибудь.

– Ты решил помириться?

– Да, а что? – ответил Эд, зашнуровывая ботинки.

– Не передразнивай меня. Манера переспрашивать пришла ко мне от телевизионных дискуссий: когда я переспрашивал, у меня оставалось лишних десять секунд на обдумывание.

– Что ты мог обдумать за десять секунд?

– Чудак, – ответил Файн. – Глупый чудак, из секунд сложена история человечества. Пренебрежительное отношение к секундам – проявление примитивизма.

– Хитрый ты парень, а?

– Я умный, – ответил Файн и ушел к себе в номер.

– Слушай, – крикнул вдогонку Стюарт, – ты умеешь формулировать. Сформулируй раз и навсегда: что может дать семье счастье?

Файн вернулся, сел рядом с Эдом на краешек кровати и ответил:

– Я развелся с тремя женами, а от четвертой сбежал сюда. Могу тебе сказать точно: ни ты, ни я никогда не дадим счастье семье, потому что мы пускаем дым из ноздрей, желая удивить мир. При этом мы хотим, чтобы жены нас понимали – во-первых, преклонялись перед нами – во-вторых, принимали все наши сумасшествия – в-третьих. А жене надо только одно: чтобы она со страхом высчитывала свои сроки и боялась только одного – не вовремя забеременеть. Тогда в семье будет счастье, потому что усталая женщина хочет спать, а не выяснять отношения.

– Ты скотина, Файн, – ответил Эд. – Ты злая, циничная скотина. Готовь стол, я через двадцать минут вернусь.

02.26

В баре по-прежнему гремела музыка. Сары за столиком не было. Эд увидел за тем столиком мадам Тань.

– Хэлло, Тань, – сказал он, – вы сегодня очаровательны. Где Билл?

– Мы договорились увидеться здесь, я немного опоздала, и его уже не было. А может быть, он еще не приходил.

Эд поманил кельнера.

– Да, сэр...

– Здесь сидела дама...

– Черная, с голубыми глазами?

– Да. Черная, с голубыми глазами. Это моя жена. Она ушла?

– Я не заметил, сэр. Сегодня что-то особенно шумно. Сожалею, я не заметил.

Кельнер видел, как эта голубоглазая, красивая дама ушла вместе с рыжим пилотом.

– Вы не знаете, где остановились журналистки?

– Сожалею, сэр, я не знаю, где остановились журналистки.

– Позвоните на аэродром и спросите от моего имени: вам ответят.

– Да, сэр...

Он отошел, и мадам Тань спросила:

– Вы сказали правду, что прилетела ваша жена?

Эд усмехнулся и молча покачал головой.

– Вы сегодня такой веселый.

– А вы – красивая.

Тань была красива необыкновенной, ломкой красотой полукровки: на смуглом лице сияли серые длинные французские глаза.

– Как мой мальчик? – спросил Эд.

– Билл прелесть.

– Вы его очень любите?

Тань удивленно посмотрела на Эда.

– Разве таких любят? – спросила она. – Таких жалеют.

– Это теперь называется «жалеть»? В таком случае пожалейте меня.

– Разве вас надо жалеть? Вы такой сильный человек...

– Вы обманываетесь, Тань.

– Нет. Просто вы не знаете про себя ничего. А ваши женщины не умеют понимать силу мужчин. Ваши женщины избалованы вами. Вы им дали равноправие, и это погубило их. И, конечно, вас.

– Это все философия, Тань. А правда заключается в том, что Билл моложе меня и сильнее.

– Он маленький, слабый мальчик. Вы, европейцы, все понимаете не так, как надо. Вам кажется, что сила мужчины проявляется только в постели...

– Это неверно?

– Это слишком рационально, чтобы быть верным. Любовь – иррациональна, она должна быть отрешенной от плоти. Сила мужчины проявляется в том, как устало он говорит с женщиной, как он шутит, пьет чай, как он грустит, как он смущается случайной измены с другой...

– Вы действительно верите в то, что говорите?

– Зачем иначе говорить?

– Откуда у вас мои книжки, Тань?

- Я их взяла в библиотеке, когда узнала от Билла, что вы умеете писать.
- Вы тоже умеете писать.
- Видите, какой вы сильный, – сказала она, – вы не засмеялись надо мной, а добро пошутили. Вы умеете сочинять, а я – писать, это же разные вещи.
- Подошел кельнер и, дождавшись, когда Тань кончила фразу, сказал:
- Вот номер телефона отеля, где остановились журналистки, сэр.
- Такой длинный номер?
- Я записал то, что мне продиктовали, сэр.
- Эд поднялся.
- Я вынужден попрощаться с вами, Тань.
- Вы домой?
- Да.
- Подвезите меня.
- Пошли. Только я позвоню.
- Он зашел в будку. В телефонных будках он всегда чувствовал себя приговоренным к смертной казни.
- Алло, – сказал он, услышав сонный голос портье, – в котором номере остановилась миссис Стюарт? Соедините меня с ней.
- Он слышал длинные гудки и думал: «Лежит и плачет, дуреха».
- Никто не отвечает, сэр.
- Сейчас ответят.
- «Нельзя отказываться от прошлого, – продолжал думать он, – каким бы оно ни было. Даже если у нас с ней был час счастья, – а у нас были годы счастья, наши первые голодные годы, – я обязан расплатиться по векселю. Чего мне надо? Я выиграл по билету из гардероба человека, который верно любит меня».
- В номере никого нет, сэр.
- Пожалуйста, поднимитесь в номер и постучите в дверь.
- Я посмотрел у себя, сэр. Ключ здесь, сэр. Прошу простить меня, сэр...
- Опустив трубку, Эд почувствовал, как жарко в этом стеклянном колпаке.
- Все в порядке? – спросила мадам Тань, когда он вышел.
- В полном, – ответил он. – Пошли посидим еще немного, а?
- Нет того, куда вы звонили?
- Что-то я устал, Тань. Пошли сядем.
- Все европейцы устают оттого, что не знают, чего хотят.
- Я американец.
- Это не важно. Вы – белый.
- В общем, верно. А чего хотите вы?
- Спокойствия.
- Хотите выпить?
- Нет, спасибо.
- Закройте колени, у вас слишком красивые ноги.
- Я думала, что надо закрывать плохие ноги.
- Простите, Тань, – сказал Эд, – мне надо еще раз позвонить.
- Он набрал номер аэродрома.
- Хэлло, это Эд.
- Хэлло.
- Журналистки улетели или остались ночевать?
- Несколько человек только что улетели в Бангкок.
- Сара Стюарт улетела, не помнишь?

– Твоя жена?!
– Однофамилица.
– Рейс отправлял Кегни.
– Спроси его, а?
– А он уехал.
– Ты не заметил – там была такая черная женщина? Голубоглазая, черная, высокая женщина?

– Черт их знает... Я их видел со спины, отсюда, из будки. У нее большой зад? Там была одна с задом громадным, как ракетодром.

– Нет, – ответил Эд, – у той ничего патологического.

– По-твоему – здоровый зад это патология?

– Нет, ну все-таки, – ответил Эд.

– Кажется, высокая черная женщина улетела...

Стюарт вытер со лба пот и медленно положил трубку на рычаг.

«Дура, – подумал он. – Истеричная дура. Конечно, она улетела! А что ей оставалось делать? Она прилетела ко мне, а я даже не позвал ее к себе. В конце концов она могла бы понять меня: я искал этой войны, чтобы найти в себе силу, а она отняла у меня последние силы. Она никогда не хотела понять меня: она живет по таблице умножения, интегралы не для нее. Ну и пусть... Пусть пеняет на себя...»

В дверях Эд столкнулся с Лэсли.

– Хэлло, Эд, – сказал он, – у твоего второго пилота сегодня великолепная женщина.

– Да? – рассеянно переспросил Эд. – Молодец. Ты куда – спать?

– Нет. Мы бомбим то же место, где катаются и вы.

– Ночью бомбить там с «фантомов» бессмысленно.

– Смысл не в том, чтобы разбомбить, а в том, чтобы попугать чарли, – ответил Лэсли. – Пока, Эд.

– Счастливо...

02.44

Степанов и Кемлонг возвращались в пещеры.

– Ситонг, наверное, ищет меня.

– Нет. Он пошел на могилу. Он всегда заворачивает сюда, чтобы зайти на могилу.

– Какую могилу?

– Здесь убили его жену. Диверсанты во время бомбежки стреляли в людей из леса. Она должна была через месяц родить ребеночка.

«Когда есть дети, – вспомнил он слова Ситонга, – не страшно умирать: на земле останется твое семя».

– А ее брату, – продолжала Кемлонг, – оторвало руку, а он художник. И он теперь не может рисовать. – Кемлонг улыбнулась: – В детстве наши родители договорились, что я стану его женой.

– Почему же не стала?

– А мы не любим друг друга. Мы просто дружим. Он всегда шутит надо мной.

– Он тоже живет здесь?

– Да. Хотите, сходим к нему? У него красивые рисунки.

– Очень хочу.

И снова – без всякого перехода – из тишины вырвался рев самолета. Кемлонг и Степанов упали на землю; раздались близкие взрывы, и самолет начал набирать высоту.

– Фосфор, – сказала Кемлонг, поднимаясь на локтях. – Слышите? Фосфор...

Степанов быстро поднялся: неподалеку, возле пещер, густо белело, словно на утренней осенней тяге вдоль озера стелился плотный туман.

Мимо Степанова пробежал монах Ка Кху.

– Там в пещере дети! – крикнул он. – Там ясли для малышей!

Степанов ринулся туда, обогнав монаха. Споткнувшись возле пещеры, он упал в белый туман, горло его сдавил спазм, и глаза защипало. Он рассек ладонь, сильно ушиб колено, но рывком поднялся и побежал в пещеру, кашляя надрывно и сухо.

Фосфор засасывало в пещеру, словно в вытяжную трубу. Он стелился по полу. Две женщины в белых халатах, Ситонг и Ка Кху то и дело опускались в этот белый, удушающий, плотный туман и поднимали с нар маленьких детишек. Степанов тоже опустился на колени и нащупал в этом плотном, удушающем, тяжелом тумане двух неподвижных детей. Он поднял их, прижав к груди. Сначала дети были неподвижные по-прежнему, но, глотнув свежего воздуха – тяжелый фосфор не поднимался вверх, – они забились в пронзительном крике.

В пещере стоял страшный, пронзительный детский крик: квадратные рты детей, синие губы, набухшие веки, серые слезы, катившиеся по впалым щекам, – все это было нереальным из-за происшедшего ужаса. На груди Ситонга болтался транзисторный приемник. Передавали концерт джазовой музыки; когда кончился твист, раздались аплодисменты и смех далеких людей, сидевших в концертном зале. Степанов побежал с детьми к выходу из пещеры, но Кемлонг крикнула:

– Нельзя! Обратно! Они сейчас будут кидать бомбы!

Кемлонг тоже опустилась на колени и начала ползать по пещере, ощупывая нары; но всех детей разобрали, и поэтому Кемлонг вытащила из белого дыма пеленки и одеяльца.

– Они фосфором выгоняют людей под бомбы из пещер, – сказала она, прижимая пеленки и одеяла к груди.

Чтобы унять дрожь, Степанов прижался спиной к стене пещеры.

Снова прогрехотали тяжелые взрывы, земля под ногами пошатнулась, и с потолка посыпались мелкие камни.

– Все, – сказал Ситонг, – они отбомбились. Надо детей отнести в госпиталь, это рядом. И он длинно выругался...

02.44

Сначала Сара пыталась сопротивляться. Билл придавил ее своим тяжелым, мускулистым телом к жесткому матрасу. Он жадно целовал ее лицо, шею, а потом нашел ее рот. Сара вдруг почувствовала слабость, и в голове у нее все стремительно завертелось, и она ощутила себя – на какое-то мгновение, отрешенно и со стороны – чужой и податливой. Она чувствовала, как дрожали ледяные пальцы Билла, пока он неумело раздевал ее. А после, чем ближе был этот молоденький веснушчатый рыжий парень и чем страшней и нежней ей с ним было, тем больше ей хотелось, чтобы все это сейчас исчезло, ушло, а рядом с ней был Эд, а потом она вообще перестала чувствовать что-либо, кроме себя, только себя, и этого парня, который был с нею...

02.47

– Ты сошел с ума, – сказал Файн, увидав в дверях Стюарта с мадам Тань. – При чем здесь Са...

– Тэйк ит изи! – прикрикнул Эд. – Мадам Тань и я любим друг друга.

Тань засмеялась своим серебристым смехом.

– Мы не умеем любить, – сказала она, – мы умеем быть покорными, а вы принимаете это за любовь.

– Покорность – это и есть любовь, – сказал Эд. – Как ты думаешь, Файн? Ты же у меня теоретик.

– Я думаю, что покорность – это начало бунта. Женщина должна быть ершистой и злой. И обязательно неожиданной. Только тогда мужчина пойдет за ней на край света.

– Такой может быть любовница, – сказала Тань, – на короткое время. Только жадных и властных женщин пугают любовницы. Мужчины всегда возвращаются к покорным и любящим.

– Да? – спросил Файн. – Черт его знает. Может быть... Будете пить?

– Нет, благодарю вас, – ответила Тань.

– А ты, Эд?

– Я выпью. С удовольствием выпью виски. И совсем безо льда. Просто пару добрых глотков виски.

– Тебе же скоро лететь...

– К черту. Никуда я не полечу. Пусть они проедут и поблагодарят за это очаровательную и покорную мадам Тань. Пусть они спокойно проедут по равнине и помолятся за меня своему богу.

– Их бог, – задумчиво сказала Тань, – является также и моим.

– Ваш бог стал нашим, – засмеялся Эд. – Бог всегда на стороне сильных.

– Сказал Адольф Гитлер, – добавил Файн, – в одной из своих исторических речей. Не трогай бога, Эд, он не любит, когда за него говорят земляне.

– Ты веришь в Бога?

– Нет. А что?

– Просто занятно...

– Я его боюсь...

Тань сказала:

– Включите какую-нибудь музыку, а то вы погрязнете в своих философских спорах.

– Включи радио, дерево, – сказал Эд. – Дама хочет музыки и не хочет философии.

– Наоборот, – сказала Тань, – я хочу философии, но только такой, которая разумна. А ее сейчас нет.

Эд и Файн переглянулись.

– Вы всерьез интересуетесь философией? – спросил Файн.

– Я закончила университет в Дели.

– И вас не устраивает философия?

– Почему? Я люблю философию древних и нелюбимого вами Энгельса. А современной философии попросту нет – как можно ее любить или не любить? Нельзя любить несуществующее.

– Почему? – спросил Эд. – Мы ведь любим мечту. А это – несуществующее.

– Нет, – мягко возразила Тань и положила свою маленькую горячую руку на плечо Эда, словно сдерживая его. – Мечта существует, потому что существуете вы, прародитель мечты. Мечта – это неудовлетворенность прошлого, опрокинутая в будущее вашим настоящим.

Файн зааплодировал.

– Каждая эпоха, утвержденная научными открытиями, рождала свою философию. Когда научно утвердилась гидравлика, сменившая ручной труд на мельницах, родилась философия Вольтера и Руссо, философия революции. Когда утвердилось электричество, открытое практиками науки, родилась философия Маркса. А сейчас расщеплен атом и сфотографированы гены. Где философское обобщение этого?

– Боже мой, – сказал Эд, – вы, оказывается, тоже мыслящая женщина?

– Я думала, вам это нравится, – улыбнулась Тань. – Я это говорила для вас. Я люблю совсем другое... Женщина должна любить только то, что нравится мужчине.

Тань сняла кофточку. Спина ее была совсем открыта, грудь четко вырисовывалась под легкой тканью платья.

Файн увидел, как Эд смотрел на женщину, и сказал:

- Ну, счастливо. Я снова лягу в ванну.
- Тань колокольчиком рассмеялась.
- Нет уж, – сказал Эд. – Лучше ты не занимай ванну. Она может в любую минуту понадобиться.
- Кому? – ухмыльнулся Файн.
- Нам, – ответил Эд и положил руку на мягкую коленку мадам Тань.

02.44

Художник был в пещере не один: в углу, на нарах, тесно прижавшись друг к другу, спали три мальчика и, чуть поодаль, старуха, прижавшая к себе младенца.

- Его зовут Кхам Бут, – сказал Ситонг. – Знакомься, Степанов.
- Здравствуйте.
- Добрый вечер. Как ваше здоровье? Как добрались, не очень ли устали в дороге?
- Спасибо, все в порядке.
- Пожалуйста, протяните вашу левую руку, – попросил художник.

Степанов вытянул руку, и Бут, достав из нагрудного кармана толстую нитку, начал обвязывать его запястье. Он никак не мог управиться одной своей левой рукой, нитка то и дело выскальзывала у него из пальцев. Степанов заметил, как у Бута под кожей, возле ушей, перекачивались острые желваки.

- Помочь? – спросила Кемлонг.
- Бут, не отвечая ей, продолжал завязывать нитку на запястье.
- Ты не торопись, – посоветовал Ситонг. – Не торопись, и все получится.
- Бут выронил нитку и, взглянув на Кемлонг, сказал:
- Рыбка выскользнула. Кемлонг, хоть ты у нас и неуклюжая, все же теперь ловчей меня.

Завяжи ему ниточку ты.

- Это обычай, – пояснил Ситонг, – ниточкой он привязывает к твоей руке свою душу, чтобы она оберегала тебя на этой войне.

Кемлонг обвязала ниточкой запястье, стянула узелок и сказала:

- Кхам Бут, гость хочет посмотреть твои рисунки. Ему интересно, как ты рисуешь...

– Рисовал, – поправил ее художник и жестко усмехнулся. – Птичка пела, а ворона только каркает.

- Э, – поморщился Ситонг, – рисовать можно и левой рукой. Рисовать – не стрелять, – добавил он и засмеялся. – Правда, Степанов?

Кхам Бут внимательно посмотрел на Степанова, который ничего не ответил.

- У меня в Москве много друзей-живописцев, – сказал Степанов. – Я люблю сидеть у них в мастерских.

– Запах скипидара? – улыбнулся Бут. – Живопись имеет приятный запах, да? Я мало знаю художников. Когда я учился в Америке, я часами простаивал возле картины русского художника Кандинского «Я и моя деревня». Я думал, что он это писал и про мою лаосскую деревню.

- Спасибо, – тихо сказал Степанов, не в силах отвести взгляда от громадноглазого, худого лица Бута.

- Он что, твой родственник? – спросил Ситонг.

– Кто?

- Ну, этот... Русский художник в Америке?

– Нет. Почему?

- Зачем же ты благодаришь?

Кхам Бут снова усмехнулся. Усмешка его была жесткой и внезапной.

– Пошли, – сказал он, – я покажу вам кое-что. Вообще-то все – мура. Я только начинал искать.

Он зажег еще один керосиновый фонарь и достал из-под циновки два блока. Первый – большой, коричневый – он отложил в сторону, а тот, что был поменьше, открыл резким жестом, будто дирижер, начинающий работу. Он начал неторопливо раскладывать по кремневому полу пещеры свои рисунки. Живопись его была пронизана синим громадным солнцем.

– Любите Ван Гога?

– Очень. Заметно, что подражаю?

– Не подражаете. Продолжаете. Подражателем быть плохо, продолжателем – почетно.

– Спасибо.

Ситонг снова засмеялся:

– Неужели все художники только и благодарят друг друга?

– Какой ты черствый, – сказала Кемлонг. – У тебя совсем огрубело сердце.

– У вас солнца через край, – сказал Степанов, разглядывая живопись. – И трав тоже.

– Через край? – не понял Бут.

– Это значит много, – пояснил Степанов.

– Пишешь всегда то, что хочется видеть. Мы же лишены здесь солнца.

– Вы любите музыку?

– Я знаю, отчего вы меня об этом спросили, – сказал художник. – Ваш композитор Скрябин делал музыку цвета.

– Верно.

– Интересно бы это посмотреть. Вообще, я думаю, живопись не нуждается в музыке. Если это самовыражение художника – там обязательно будет и музыка, и скульптурная форма, и философия.

– А что во втором блоке? – спросил Степанов и потянулся рукой к плоской коричневой папке, лежавшей поодаль.

– Это – так, ерунда, наброски, – ответил Бут, – это совсем неинтересно.

Он как-то слишком торопливо поднял блок, чтобы забросить его под циновку, поэтому блок выскользнул из его пальцев, и на пол посыпались рисунки. Это были одни только портреты Кемлонг: вот она смеется, а вот поет, а здесь – купается в зеленом пруду.

Художник метнулся растерянным взглядом, увидел застывшее лицо Кемлонг и, опустившись на колени, начал ползать по полу, суетливо собирая рисунки. Степанов опустился рядом с ним и помог ему собрать рисунки.

– Спасибо, – сказал Бут и снова метнулся взглядом по пещере: Кемлонг уже не было.

– Ну что? – спросил Ситонг, отхлебнув холодного чая. – Пора трогать, а? Надо ж равнину проскочить в сумерках. Мы там как мишень: голое место... Ни камня, ни дерева... А то, может, поживем тут денек? А?

– Нет, поедem, – сказал Степанов.

Он очень торопился сейчас, потому что ему надо было как можно скорее рассказать людям про то, что он здесь увидел.

– Скажи ему, чтоб он не горевал, – сказал Ситонг. – Вы ж одного поля ягоды – ненормальные... Скажи ему, что прожить можно и без руки.

– Прожить, – кивнул головой Бут. – Именно – прожить.

– Будто ты не можешь жить без этих своих рисунков... – сказал Ситонг.

Кхам Бут поглядел на Степанова, словно ища у него защиты.

– Жить – нельзя. Прожить – можно.

– Брось, – сказал Ситонг. – Надо только сказать себе злое слово. Надо уметь быть сильным.

– Сильнее себя человек быть не может, – сказал Степанов.

– Может, – упрямо повторил Ситонг. – Может. Человек все может.

– Я пробовал рисовать левой, – словно оправдываясь, сказал Бут, – но это очень плохо. Я почувствовал себя немым: все слова слышу, а сказать ничего не могу. Я пробовал к этой культе, – он тряхнул обрубком правой руки, – привязывать кисть. Ничего у меня не вышло, мазня одна... Вышла мазня... Я говорил себе: если ты настоящий художник, пусть тебе отрубят обе руки – не погибнешь; если есть что сказать людям – ты скажешь этой песней. Пусть отрежут язык – ты все равно будешь думать свое. Я так сначала говорил себе... А когда попробовал привязать кисть к культе и ничего не вышло, тогда я...

– Когда победим, – сказал Ситонг, – мы заставим американцев построить для тебя специальный протез.

Кхам Бут опустил голову, спрятав лицо в коленях.

Ситонг обнял его за плечи, и лицо его мелко затряслось.

– Ну что ты, что ты? – ласково, совсем иным голосом – такого голоса Ситонга ни разу не слышал Степанов – заговорил он. – Ну не надо, брат мой, ну не надо же, любимый брат мой... Разве можно так жалеть себя?

Степанов вышел из пещеры. Кемлонг стояла возле дерева и рисовала пальцем на коре замысловатый узор.

– Пойди к нему, – сказал Степанов.

Она отрицательно покачала головой.

– Почему?

– Я не люблю его.

– Ты знала про эти рисунки?

– Нет.

– Пожалей его.

– Разве можно жалеть мужчину? Он тогда погибнет.

– До свиданья, Кемлонг. Мы сейчас уезжаем.

– Я знаю.

– Ты очень хорошая девушка, Кемлонг.

– Я знаю, – пожала она плечами, по-прежнему рисуя пальцем замысловатый узор на коре дерева.

– Мне жаль уезжать.

– Дайте мне вашу руку, – попросила она.

Кемлонг обвязала его запястье красной шелковой ниточкой и сказала:

– Это я вам дала свою душу на дорогу...

03.40

Файн сидел возле включенного диктофона и неторопливо курил.

– Неужели в мир пришла ночь? – заговорил он, поставив нужную тональность записи. – Неужели двадцатый век – последний век человечества? Этого человечества?

Файн отмотал запись, прослушал свой голос и досадливо затушил окурок в пепельнице, сделанной из половинки шариковой бомбы. Стер написанное и начал диктовать снова:

– Люди, считающие, что они служат долгу, попросту выполняют то, что *время* запрограммировало в их генах. Мы все запрограммированы, сейчас уже с этим не спорят. Когда-то древние знали про это. Недаром осталась мудрость: «Тот, кому суждено быть повешенным, не утонет в луже». Раньше *время* было медлительным. Его называли рекой. Теперь оно стремительно. Отчего оно так убыстрилось? Наверное, оттого, что *оно* не хочет открыть нам свою тайну. Главную тайну. Поэтому *оно* заставляет нас прожигать и проживать время жизни. Оно подгоняет нас, выдвигая иллюзорные мечты, мы гонимся за ними, пробегая сквозь время. Мы не успеваем осмыслить происходящее: *время* готовит нам одну феерию за другой. Память мира

стала, как никогда, короткой: так бывает в концерте, где отличные номера следуют один за другим. Этот наш бег за мечтой порождает усталость. И мы передаем эту усталость потомкам. Мы программируем усталость в будущем через гены наших детей и внуков. Видимо, мы слишком близко подошли к тайне *времени*. Мы начали выходить из-под контроля. И *время* тогда, поняв, что впрямую нас не победишь и прошлое – спокойное прошлое – не вернешь людям, а следовательно, и ему самому – позволило простой микроскоп сделать электронным и помогло тем, кто слепо тыкался носом вокруг проблемы наследственности, сфотографировать клетку ДНК. *Время* решило столкнуть количество открытого людьми с их разумом, который не в силах это открыто осмыслить. И тогда *время* помогло Виннеру создать кибернетического робота. Это был самый коварный ход *времени*. Человек, преклоняющийся перед творением рук своих, перед всезапоминающим и всевычисляющим роботом, обречен на умильное рабство. Робот будет служить не человеку, как он надменно думает, но – времени. Спасти от гибели можно только верующих рабов. Богов свергли. Робот – бог будущего. Боги – слуги времени. *Время* нас снова обыграло. Человечество, погрязшее в маленьких личных, групповых и государственных заботах, уже проиграло, не заметив этого катастрофического проигрыша. А порой даже аплодируя поражениям – когда выдавали Нобелевские премии мудрецам от математики и электроники. Эти мудрецы были невольными *провокаторами времени*. Не зря инквизиция жгла на кострах тех, кто дерзал думать шире пределов, утвержденных религией: видимо, папские нунции, лишённые радостей плотской, простой жизни, мечтали, чтобы этим простым счастьем наслаждалась их паства. Паства дерзко отринула этот путь устами Галилея, который сказал, что шарик все-таки крутится. Будь он проклят, этот вздорный старик, этот вздорный старик... Только равенство мысли могло бы уравнивать людей в их правах и обязанностях. Но разве люди согласятся уравнивать себя в мысли? Личный агент *времени* в каждом из нас – честолюбие и алчность – не позволит сделать этого. Маленькие люди заняты своими маленькими радостями, крохотными горестями и глупенькими страстями. *Время*, наблюдая нас, видимо, потешается: «На что замахиваетесь, мыши?»

Файн выключил магнитофон и, откинувшись на спинку старинного, с истертыми валиками кресла, закурил и почувствовал, как у него устало расслабились мышцы живота.

Он потянулся и закинул тонкие руки за голову. Возле окна, в дальнем углу номера, запел сверчок. Файн долго слушал, как поет сверчок, а потом – неожиданно для самого себя – заплакал. Он включил диктофон и поднял микрофон, чтобы песня сверчка явственнее записалась на пленку. Он долго сидел с вытянутой рукой и, улыбаясь, счастливо плакал, слушая, как пел сверчок. А когда он замолчал, Файн сказал в микрофон:

– У времени добрая песня...

04.07

– Поставь будильник на пять часов, – сонно пробормотал Билл. – Я хоть часок вздремну. Мы в пять должны вылетать...

– Я разбужу. Спи, – сказала Сара. – Я разбужу тебя в пять.

– Мы разбомбим эту машину с чарли и быстренько вернемся.

– Спи. Спи, – повторила Сара. – Спи же ты...

– У меня очень свирепый командир. Мне нельзя проспать.

– Спи. Я тебя разбужу.

Саре показалось, что парень уснул. Она осторожно отодвинулась от него. Ей хотелось бежать отсюда, но парень обнял ее, прижал к себе и спросил:

– Куда ты?

– Никуда. Просто мне жарко.

– Нет. Лежи рядом. Я не буду спать, я только подремлю пятнадцать минут, – он поцеловал ее в шею. – И сразу проснусь. И у нас еще останется полчаса на любовь. Поцелуй меня.

Сара прикоснулась губами к его щеке.

– Нет, поцелуй меня так, как раньше.

– Я устала.

– Ты думаешь, я не устал? Я тоже очень устал.

– Поспи. Поспи немного.

– Хорошо. Совсем немного. Разбуди меня через десять минут. Ладно?

– Хорошо.

И Билл уснул: он всегда засыпал сразу, как ребенок.

04.29

– Я не мешаю тебе своими коленками? – спросил Ситонг.

– Нет, что ты, совсем не мешаешь.

– Я взял еще две канистры на обратный путь и продовольствия, поэтому стало так тесно.

– Ты на границе не отдохнешь? Там хорошее убежище.

– Нет. Надо возвращаться на фронт, – ответил Ситонг. – Там дел много. Ну-ка, поддай скорости, – попросил он шофера. – Надо поскорей проскочить равнину.

– Я и так гоню, – сказал шофер. – Равнина очень красивая, – обернулся он к Степанову. – Вы ее днем не видели?

– Чего красивого может быть в равнинах? – удивился Ситонг. – Красиво бывает только в горах.

– Почему? – спросил Степанов.

– Потому что в горах неизвестно, что будет дальше. Поднимешься на вершину – и видишь: водопад. Поднимешься на вторую – а там ульи с медом; опустишься в ущелье – а там олень стоит. А равнина – что? Как жизнь: заранее знаешь, что в конце помрешь...

– В равнине можно построить красивый город, – сказал шофер. – Кхам Бут, когда был с рукой, нарисовал такой город: он весь стеклянный. Когда мы победим, в тот город станут приезжать люди со всего мира – отдыхать, и охотиться, и ловить рыб в горных потоках, стремительных как любовь, – закончил он обязательной саванакетской цветистостью.

– Жаль только, – задумчиво улыбаясь чему-то своему, далекому, сказал Ситонг, – что у нас нет снега.

– А у нас жалеют, что мало лета, – сказал Степанов.

– Всегда жалеют о том, чего нет, – сказал Ситонг. – Вообще-то снег – это очень красиво.

– В нем много высокой эстетики, – сказал Степанов, – особенно когда его вспоминаешь, а не идешь по нему босиком...

– А что такое эстетика? – спросил шофер.

– Эстетика? – переспросил Степанов и пожал плечами. – Черт его знает... Наверное, это – когда уважают человека. В жаре нет эстетики, например.

– Жара – это ничто, – засмеялся шофер. – Как же может ничто уважать человека?

– Жара – это нечто, – сказал Ситонг. – Ведь ты реагируешь на нее?

– Я на нее потею, – ответил шофер, – а не реагирую.

Ситонг спросил Степанова:

– Ты любишь снег?

– Очень.

– Я тоже очень люблю снег, – сказал Ситонг. – Я очень любил подниматься на фуникулере в Париже, когда шел снег.

Степанов вспомнил фуникулер в Татрах. Он тогда забрался на самую вершину – думал только посмотреть на Татранскую ломницу, но начался буран, и водитель фуникулера вошел в маленький ресторанчик, отряхнул с фуражки снег и сказал:

– Будем отдыхать.

В ресторанчике было четыре человека: краснолицый седой австриец в спортивной ношенной куртке, женщина-горнолыжница, сидевшая возле самого окна, парень, игравший на губной гармонике, и Степанов. Водитель фуникулера ушел на кухню, и оттуда был слышен его рокочущий голос, – наверное, он пил пиво и поэтому так довольно рокотал.

Австриец спросил Степанова:

– У вас нет огня?

– Есть. Пожалуйста. – Степанов протянул ему зажигалку, и австриец прикурил треснувшую, намокшую сигарету.

– Спасибо, – сказал австриец. – Хороший снег, а?

– Снег дрянной, – сказал парень, перестав играть на губной гармошке. – Если он не прекратится, надо будет здесь ночевать.

– Ну и прекрасно, – сказал австриец, – это ж приключение. Что может быть лучше приключений в нашей жизни?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.